

---

---

Дмитрий ЛАГУТИН

## КАК КОЛЕСНИКОВ ДОМОЙ ВОЗВРАЩАЛСЯ

### Рассказ

И вот все они уехали, а Колесников остался.

Сразу после обеда проскрипели колесиками три десятка чемоданов, погудел в ожидании огромный, похожий на линкор, двухэтажный автобус, покурил в отдалении водитель — казах с широким лицом, в свитере, с крупными, малоподвижными, как будто не по-водительски, руками — зазвучали слова прощания, кому-то Колесников тряс ладони, кого-то обнимал, стараясь не кашлять, с кем-то обменивался обещаниями приехать в гости, а потом узкие двери с шипением закрылись, автобус крутанулся неожиданно резко для своих габаритов — мелькнули и тут же погасли в окнах три десятка довольных, устало улыбающихся друг другу лиц — и нырнул под резную арку ворот, влился в светливый шестиполосный трафик и исчез из виду, потек вниз по дороге, ведущей в аэропорт.

А Колесников остался — посмотрел сквозь арку на полупрозрачные, серо-синие горы, встающие над домами, врастающие в бледно-голубое, ноябрьское алма-атинское небо, не низкое и не высокое, а как будто твердое, на то, как спешат в обе стороны по шести полосам автомобиля, чихнул в локоть, поежился, развернулся и зашагал по аккуратной дорожке к крыльцу санатория.

С крыльца — с каменных тумб — смотрели пристально, выгибая спины, каменные тигры; в сумрачной глубине еловых крон, стискивающих дорожку, скакали весело упитанные, серебристого окраса — «платиновые», как говаривал сосед Колесникова по номеру — белки, соскальзывали по стволам, перебегали с едва слышным царпаньем по сухой снежной корке.

Колесников никогда прежде не видел таких вальяжных белок — дома встречались маленькие, все как одна буро-рыжие, юркие и пугливые. А тут до последнего сидит неподвижно и смотрит, ждет, пока к ней подойдут, чтобы потом взмахнуть серебряным хвостом и взвиться к самой верхушке, цепляясь за ветви.

Но за две недели, проведенные в санатории, Колесников к этим белкам привык — и к горам привык, и к странной погоде — тепло, хоть куртку в номере оставляй, а снег лежит и не тает, — и к разнице во времени, и к санаторной кухне — сплошь национальной, невпопад пресной или соленой, — и к гвалту, разговорам, официальным и неофициальным мероприятиям, к статусу участника конференции, на которую, вообще-то,

---

Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Член Союза писателей России. Победитель международного конкурса «Всемирный Пушкин» в номинации «Проза» (2017, 2018, 2021). Лауреат премии «Русские рифмы», «Русское слово» в номинации «Лучший сборник рассказов» (2018). Тексты опубликованы в журналах «Знамя», «Москва», «Новый берег», «Волга», «Нева», «Юность», «Урал» и др. Лауреат премии журнала «Нева» (2021). Рассказы переведены на китайский и немецкий языки.

должен был поехать Павел Александрович, да тот разболелся, слег, подал за Колесникова документы, попросил заменить, согласовал все с руководством.

— Едь, — Павел Александрович закашлялся в трубку, и Колесников даже по кашлю понял, что он раздосадован. — Казахстан посмотришь, всяко дело хорошее. Лучше ты, чем какого-нибудь упыря из ректората пришлют.

— А с расписанием как быть?

— Да наплюй ты на это расписание с высокой башни, я все улажу. Едь, говорю тебе! И Колесников поехал.

И две недели ходил по актовым залам, сидел за круглыми столами, обсуждал что-то, выдвигал предположения и гипотезы, расписывал, как у них в университете все здорово налажено, так здорово, что не грех их опыт перенять и в других регионах, а то и вообще за границей, *sapientī sat*, катался на экскурсии в горы, гулял по городу, по гнутым, широким улицам, слушал в магазинах похожую на стук палочками по кувшину речь, а вечерами пил вино, или пиво, или коньяк с виски в каком-нибудь номере, в который набивалась вся делегация так, что номер трещал по швам и грозил лопнуть на манер теремка, курить даже выходил на балкон, стрелял сигареты, вкус которых успел со студенчества забыть, или не показывался в чужом номере, а сидел в своем и до поздней ночи спорил с соседом о том, как надо и как не надо в наше время снимать кино.

— Да что ты мне рассказываешь? — горячился сосед и вскакивал со своей кровати, расхаживал по номеру возмущенно, огромный, красный, размахивал руками, рискуя что-нибудь опрокинуть. — Кто из нас ВГИК заканчивал? Ты или я?

Потом останавливался и смотрел на Колесникова с улыбкой:

— Вот хороший ты малый все-таки, повезло мне с соседом, а такую чушь порешь!

И добавлял:

— Разъедемся, я в Ростов смотаюсь на месяцок — слет у нас, — а потом давай ко мне в Питер, погудим как следует, наведем шороху!

Колесников пожимал плечами — можно, чего ж — и говорил:

— Или ты давай к нам. У нас вон и неделя кино намечается.

— Не, — кривился сосед, — к вам далеко. Да и устал я от провинции.

В номер заглядывал кто-нибудь — без стука — спрашивал, и чего это они — Колесников и сосед — в самом деле, тут затворничают, коли в триста восьмом и гитара, и местный какой-то высшей пробы коньяк, и даже коллеги из Алма-Атинского университета, оставшиеся после выступления для того, чтобы продолжить дебаты.

И они шли в триста восьмой — и еще с лестницы слышали песни, голоса и смех.

А сейчас Колесников шел к крыльцу с тиграми, а затем, мимо услужливо распахнувшихся стеклянных дверей, шел по вытянутому, мрамор и зеркала, холлу, а потом — по бесконечному, устеленному дорожками ковров коридору, тихому и полутемному, в редких светильниках, а потом поднимался по крутой лестнице, а потом — опять коридор...

Наконец перед ним выросла дверь номера — с чернильными цифрами на прямоугольной табличке. Выросла, щелкнула замком, открылась, Колесников перешагнул через порог и оказался в номере — тоже тихом и полутемном, как коридор, с окном в ели и крошечным балкончиком.

Колесников по-прежнему в мыслях называл номер «нашим», имея в виду себя и соседа — но сосед уехал вместе со всеми в похожем на линкор автобусе, и номер на какие-то десять часов оставался, конечно, никаким не «нашим», так как переходил в полное распоряжение Колесникова.

Колесникова не было смысла отправлять в Москву вместе со всеми — слишком долго потом ждать следующего самолета — домой, и потому организаторы заранее, расчи-

тывая еще на Павла Александровича, знали, что один из участников покинет санаторий, а за ним и Казахстан чуть позже остальных, чтобы не скитаться вечер и ночь по Москве.

Оказавшись в номере, Колесников долго шарил в сумке в поисках жаропонижающего: последние несколько дней по делегации гуляла какая-то зараза, участники заболели один за другим, обкладывались на круглых столах носовыми платками и осаждали местную аптеку. Догуляла зараза, по-видимому, и до него: с самого утра ломило кости, горло точил кашель.

Сосед на растекающуюся по коллективу хандру смотрел насмешливо, хрустел суставами, потягиваясь:

— Меня никакая зараза не берет, я слово волшебное знаю!

Он понижал голос и растягивал заговорщически:

— Конь-як!

И хохотал своим оглушительным хохотом — а Колесников думал, каково бы с ним было жить степенному и замкнутому, мрачному даже Павлу Александровичу, не возненавидел бы он такого шумного, так много места занимающего человека?

Сосед с самого утра, еще с зубной щеткой во рту, начинал петь, включал музыку, распахивал дверь в коридор, чтобы слышали все, за обедом на весь ресторан просил добавки, вызывая всеобщий смех, на мероприятиях спорил с лекторами, а вечером в чьем-нибудь номере то обнимался с кем ни попадя из-за избытка чувств, то лез драться, и его приходилось оттаскивать.

Отыскав в несессере жаропонижающее, Колесников сполоснул стакан, из которого еще вчера пил вино, и, как был, босиком вышел из номера — закрывать на ключ не стал — протопал в конец коридора к кулеру. Набрал кипятку — края стакана вмиг запотели — разбавил холодной, тут же проглотил и запил таблетку. Наполнил стакан вновь, осушил, поздоровался с шаркающим по коридору старичком казахом, занимающим один из дальних на этаже номеров — старичок в ответ посмотрел безучастно из-под тяжелых век, едва заметно кивнул, — вернулся в номер, посидел на кровати, думая, не спросить ли у администратора градусник, потом махнул рукой, закрылся на ключ, проверил, разделся до трусов и влез под одеяло. Поставил будильник — «а ну как просплю самолет» — на время ужина, отвернулся к стене, подумал, что по приезду можно будет взять больничный и еще какое-то время не выходить на работу, поваляться дома, читая скопившиеся книги, взялся считать до ста, но уснул, не дочитав и до пятидесяти.

Приснилось ему какое-то мероприятие — вроде вот той же самой конференции, с толпой участников, только проводимое под открытым небом, рядом со зданием, похожим на школу, в которой Колесников учился.

Прямо у стен школы выстроены помосты, на помосте расставлены столы и стулья — участники по двое, по трое поднимаются, кашляют в микрофоны, зачитывают с листов приветственные речи. Колесников только приехал и опоздал — к тому же он долго искал, где бы можно припарковаться, и потому опоздал еще сильнее. Припарковаться же он не мог не только из-за машин прибывших вовремя участников, но и из-за того, что земля, на которой стоит школа, вся покрыта кочками и буграми, слоистыми, наползающими друг на друга на манер древесных грибов, всех форм и размеров — и в промежутках между этими буграми темнеют обрывы разной глубины, от ям по колено до бездонных расщелин.

В конце концов Колесникову удалось припарковаться на одном из бугров, в два автомобиля шириной, он заспешил к сцене, протиснулся сквозь толпу, но только успел понять, о чем говорят выступающие, как услышал через гомон визг сигнализации.

— Извините, — кивнул он выступающим и, наступая на чужие ботинки и отталкивая встающих на пути, помчался обратно к машине, с тем чтобы увидеть, как она соскальзывает с бугра в пропасть, вскинув вертикально капот.

Только машина его уже не старенький «фордик», а совсем новая, сверкающая на солнце «тойота».

Капот вскинулся еще выше и ухнул вниз, а Колесников схватился за голову, подбежал к краю бугра — и увидел вдруг, что машина не упала, потому что перестала выглядеть как машина — «фордик», там, или «тойота», да какая угодно — и превратилась в темноволосую девушку, и девушка эта висит над обрывом, ухватившись тонкими руками за изгиб бугра и смотрит на Колесникова с испугом.

Когда Колесников проснулся — по будильнику, — в номере было совсем темно, только светился зеленовато квадратик неба в балконной двери. Он проснулся вспотевший, ужасно разбитый, с заложенным наглухо носом, но какое-то время лежал и восстанавливал в памяти сон, понемногу от него ускользающий. Затем сел, откинув одеяло, посидел, чувствуя, как кружится голова, поднялся и прошлепал босыми ногами в ванную, зажег на ощупь свет. Зажмурился, даже рукой закрылся, а потом долго умывался в крошечной, бьющей со всех сторон светом комнатке, плескал водой на кафель и махровый коврик под ногами, смотрел отражению в глаза — красные, запавшие, — думал о том, сколько сейчас времени дома, и что там сейчас происходит, и кто куда направляется, и кто чем собирается заниматься. Еще он думал, что вот же забросило его под конец года, и мысленно чертил на глобусе, прикидывал расстояние — а ведь он только увольняться собрался, почти уволился, можно сказать, и, может быть, уже уволился бы еще раньше, не появись на кафедре Оля.

Он вспомнил про то, что надо бы уже покупать билеты на концерт — а то все разберут или Оля, чего доброго, сама купит и уйдет с подругой. Или нужно хотя бы намекнуть ей, еще до билетов, позвать-пригласить. И обязательно к концерту встать на ноги — чтобы подпевать со всеми, а не сопли на кулак наматывать.

Он представил себе темный, в софитах, зал, сцену с музыкантами, сливающиеся в равномерный шум голоса подпевающих, Олю рядом с собой — не в обычном ее пиджачке с воротничком, а... в каком-нибудь джемпере, там, под горло или кофте цветастой — счастливую, улыбающуюся, поглядывающую весело: «Здорово ты придумал, и откуда узнал, что любимая группа, я разве говорила?» Представил и фыркнул довольно в зачерпнутую из-под крана воду, подмигнул измученному, бледному и взъерошенному отражению.

— Веселей! — приказал Колесников.

И растянул губы в улыбке — так-то лучше.

Обтерся полотенцем, вышел из ванной в номер, уселся на кровать — и сидел так, пока глаза привыкали к темноте, пока выплывали из темноты, как рыбы из дальнего угла аквариума, предметы и мебель, распахнутый чемодан, куртка на вешалке, мутно мерцающее зеркало.

Звучали откуда-то из-за стен приглушенные голоса, едва слышно стрекотали на тумбочке наручные часы, булькал в конце коридора кулер, в ванной капало редко — не то из крана в раковину, не то с краев раковины на пол.

Когда глаза совсем привыкли, Колесников, не зажигая свет, оделся, влез в тапки и вышел на балкон, скрипнул оглушительно дверь.

Небо над горами мерцало зеленцой, как зеркало в комнате, в нем белели точки звезд. Горы — далекие, молчаливые и темные — казались вырезанными из бумаги, а под ними до самого балкона клубилась, прорываясь огоньками, тьма, густая и плотная, вырастала из-под земли уснувшими елями, пенилась, сцеплялась кронами так крепко, что не было видно за ней ни санаторной ограды, ни улиц... Елки-темнота, горы из бумаги и небо зеленцой — вот и весь вид.

В зените небо было чернильно-черное, и из него ярче и увереннее смотрели звезды.

Слышно было, как шумят где-то машины, гудят даже друг другу, как переговариваются по-казахски где-то под балконом — за одним из окон — отдыхающие.

Колесников огляделся, перевесился даже через перила: окон горит мало — раз, два и обчелся, и пятна света робко, стыдясь даже как будто, падают на ели, путаются в ветвях, выхватывают то плюш иголок, то бледную кору.

А вот и замолчали переговаривающиеся, и даже окно — Колесников увидел краем глаза — погасло.

Он постоял немного, подышал чудным, сухим воздухом — не холодным и не теплым, странно как-то прохладным, точно снег через перчатку трогаешь, — почувствовал себя бодрым и здоровым и вернулся в номер.

Номер после балкона показался по-больничному душным, сдавливающим со всех сторон. Колесников оставил балконную дверь приоткрытой — «больные, кварцевание, выходим-выходим», — сменил тапки на туфли, подхватил под мышку куртку, щелкнул замком и выпрыгнул за порог. Закрыл, подержал для верности ручку и зашагал по тихому и пустому коридору к лестнице.

И издали — на подходе еще к ресторану — почувствовал, как пахнет едой, ускорился, отметил, что в обед ел кое-как, ковырял вилкой салат, а сейчас вот аппетит разыгрался, и это хорошо.

«Надо есть впрок, — думал он, заходя в ресторан и пробираясь к „своему“, ставшему своим за две недели, столу. — В самолете ночью не кормят, в Москве сразу нестись из Шереметьева во Внуково, и в итоге поем я в следующий раз хрен знает когда».

И не успел он усесться, а уже катилась к нему, подпрыгивая, гремя колесиками, тележка с тарелками.

— Вы чего это не уехали? — обеспокоенно спросила Зылика, выставляя перед Колесниковым тарелки. — Забыли вас?

— Отказался, — пошутил Колесников. — Буду теперь у вас жить.

Зылика усмехнулась недоверчиво, пробормотала что-то добродушно, покатила свою тележку в сторону кухни.

И пока Колесников ел, она все катала ее туда-сюда, хотя ресторан был совсем пустой: кроме Колесникова, в просторном зале уютилась в углу небольшая группа отдыхающих, два сдвинутых столика. Да сидел у колонны старик, встреченный у кулера, — пил сосредоточенно чай, смотрел перед собой.

Колесников вспомнил, как шумно было здесь еще в обед, а уж как — вчера вечером!.. Даже музыка играла из колонок, а сейчас и лампы не все горят, половина зала в тени. Он прикинул — делегация сейчас должна ровнехонько лететь, половину пути, может, преодолели, а прибытие у них... По местному... По московскому...

Летят сейчас участники конференции, перешучиваются устало, спят, повесив головы на грудь, сосед басит на весь салон, конечно, объясняет кому-нибудь принципы кинопроизводства. Пахнет по-самолетному кисло, гудят двигатели, стюардессы туда-сюда порхают с тележками. А за окнами закат, может быть, светится — они же в обратную сторону летят, вечер вспять поворачивают, ведут обратный отсчет часовых поясов. Планету против шерсти гладят.

Колесников посмотрел на затянутые шторами окна ресторана — щелочка вон, и за ней черным-черно — и решил после ужина не просто по территории пройтись напоследок, но и в город выйти, к магазинам.

— Добавки положить? — спросила Зылика, чуть ли не тараня тележкой стол.

— Положите, да.

Он сидел, ел добавку, потом пил чай, чувствуя, как понемногу возвращается сбившая температура, уминал сдобные, в сахарной корке, булки, смотрел то на светлую

дверь кухни, то на звякающих вилками отдыхающих в углу, то на старика, то на Зылику, оглядывал весь ресторан и чувствовал, что ему сейчас и хорошо, и грустно. Думалось, что вот еще несколько часов, и он уедет-улетит и, возможно, никогда больше, никогда в жизни — сколько лет еще ни проживи — не вернется, а ведь две недели это место было ему совсем домом и за эти две недели оставило в нем какой-никакой, а след. И от этих мыслей даже столовая казалась ему совсем родной, близкой, и столик вот этот тоже, и хотелось сидеть за ним подольше — и потому он цедил чай и кивал благодарно, когда Зылика подходила и доливала в фарфоровый чайник кипятка.

Под конец он так распарился от чая, что даже кофту снял и остался в рубашке — закатал рукава до локтей, да и сидел, глазел по сторонам.

Или чайник разглядывал — бегущие по керамическим бокам узоры: кружева с острыми углами, вензеля, не то листочки с ветки, не то острия копий; а у носика, на самом краю, откуда пар качается тонкой струйкой, — трещинка и даже едва заметный скол.

«Уеду-улечу, — думал Колесников. — И допустим, действительно никогда сюда не вернусь. А ведь место это никуда не исчезнет — и все те годы, что я не буду в него возвращаться, хоть сорок лет, хоть пятьдесят, хоть сто пятьдесят, будет жить своей жизнью и моего отсутствия даже не заметит. А я вспомню его когда-нибудь, и покажется оно мне страшно далеким, почти нереальным».

В этих мыслях Колесникову виделся какой-то смысл — и он снова, не первый раз уже, думал, что поездки такие — а может быть, и вообще любые — чем-то похожи на сон, и сходство у них не поверхностное, случайное, а какое-то глубокое и, как сказал бы Павел Александрович, обсуждай он это с ним, «сущностное».

Думая об этом сходстве — «сущностном» — и ощущая, как разливается в груди странная, тягучая тоска, Колесников вылез из-за стола, поблагодарил Зылику и вышел из ресторана в холл. Думая об этом сходстве и о тоске, влез перед одним из зеркал в кофту, закутался в куртку. Кивнул администратору за стеклянной витриной, подождал, пока разъедутся в стороны, выпуская на крыльцо, двери, спустился по ступенькам и двинулся по дорожке под пристальным взглядом каменных тигров.

Вот проплыла мимо пустая беседка — а вчера попробуй застань ее пустой, по несколько человек сигаретами дымят, хохот, разговоры. Вот показалась впереди площадка перед воротами, сами ворота — а вокруг тишина, елки темные и неподвижные, самый громкий звук — шаги, и твердеет понемногу воздух, наливается холодом к ночи, а зеленцы никакой в небе уже и нет, растаяла, пока Колесников чай пил, и гор не видно, тоже растаяли.

По мере приближения к воротам все громче и громче становился автомобильный гул — шаги в нем тонули и пропадали. На миг накрыла Колесникова широкая тень от ворот, затем он из-под нее вынырнул и оказался на светлом широком тротуаре, зашагал вдоль шумной, в фарах, дороги — и навстречу ему изогнулась, склонилась своими огнями и вывесками, фонарями и светофорами улица, устремилась весело и сильно вверх.

Колесников прошел — тоже весело, даже бодро — до первого перекрестка, постоял перед зеброй, дожидаясь зеленого, пересек улицу, поднялся еще немного и свернул в магазинчик, в котором все две недели делегация закупалась по вечерам, звякнул приветливо колокольчиком над дверью.

Прокатил вдоль рядов тележку, скидывая в нее с полок батончики и бутылки с водой — то, чем просто перекусить в самолете, — вспомнил, что с водой в самолет не пускают, и бутылки вернул на место, взял за чем-то пакетик с сушеными финиками «по

акции», у кассы набрал жвачек и мятных леденцов, чтоб «пробивать» отяжелевший из-за подлой заразы нос.

«Мои-то, — подумал Колесников про делегацию, — шмыгают сейчас, чихают на весь самолет. Это как пить дать». И пожалел «остальных», которые не виноваты в том, что все разболелись под закрытие конференции.

Постоял в небольшой, но неспешной очереди — и пока стоял, оглядывался, запоминал как будто: магазин и магазин, что в Москве таких полно, что дома, а все-таки улетит вот и больше никогда вот в нем не окажется.

В магазине пахло специями, над кассой висело круглое зеркало, всасывающее в себя удивительным образом зал от одного угла до другого.

В зеркало Колесников видел, как сучает на табуретке охранник, подпирает щеку ладонью, как светится за дальним окном светофор, как сам он — Колесников — бледный, с мешками под глазами, стоит, навалившись на тележку.

— Товар на ленту выкладываете, мужчина, — поторопила продавщица, — что вы застыли?

Он спохватился, переложил на ленту содержимое тележки.

— Кофе со скидкой не желаете? — потеплела продавщица и запыкала сканером. — Или финики вот еще есть... А, вы взяли уже.

До последнего Колесников сомневался, не взять ли вина — «крепче буду спать в самолете, да и „проводить“, так сказать, не мешало бы», — но не решился: какое вино с жаропонижающим?

Вышел из магазина и уже собирался было спускаться обратно, к санаторию, как увидел вдалеке — вверх по улице — зеленый крестик аптеки, моргающий призывно.

Оценил время — «успею ли собраться? а поспать?» — и двинулся к аптеке.

А тут улица круче выгнулась — точно на гору восходишь, как люди каждый день туда-сюда бегают? — вздыбилась, и к тому моменту, как Колесников добрался до крыльца аптеки, он укрепился в любви к родному, равнинному ландшафту, и пообещал себе по приезде — и выздоровлению — сразу после концерта, записаться в спортивный зал.

В аптеке над кассой тоже висело круглое зеркало — расплатившись за пакетик с порошками и таблетками, Колесников поднял голову и подмигнул болезненно розовощекому, взъерошенному, волосы в разные стороны, отражению.

В санаторий он вернулся вымотанный и взмокший, сто раз пожалевший о принятом походе — батончики с таблетками да даже и финики наверняка можно купить в аэропорту, — хотя обратная дорога была не в пример комфортнее: широкими, порывистыми шагами спускался Колесников по улице, все ускоряясь и ускоряясь, и даже сдерживал себя, чтобы не побежать ненароком.

А под ним разливалось, моргало и гудело равномерным гулом море из огней — и улица, пройди он мимо санатория, попетляла бы да и вынесла его, швырнула прямо в светящуюся гушу.

Он забрался в свой номер — свежо-то как, — зажег свет, швырнул пакет на кровать и, как был в куртке, плюхнулся в кресло. Потом встал и прикрыл балконную дверь — за ней клубилась сплошная, неразличимая — ни неба, ни елок, ни гор — темень. Потом, расхаживая по номеру, полистал новости, выбрал несколько фотографий поудачнее — официальных, на кафедру, — полез было за билетами на концерт, но сайт оказался открываться, споткнулся раз-другой о чемодан, отложил телефон и приступил к сборам.

И собирался удивительно долго — выгребал вещи из тумбочек, с полок в шкафу, стягивал рубашки с вешалки и поражался: откуда у него столько вещей? и зачем ему

столько? вроде же брал всего ничего... в следующие поездки, если будут такие, надо брать вполтину меньше, только самое необходимое...

В разгар сборов позвонили от организаторов, спросили, все ли в порядке, проговорили сценарий отбытия.

- В три за вами заедут, трансфер будет ждать перед воротами.
- Хорошо, спасибо.
- Я попрошу водителя позвонить чуть заранее — чтобы вы успели выйти.
- Спасибо.
- Все в порядке? У вас голос какой-то нездоровый.
- Простудился немного, ерунда.
- Ясно. Главное — не выбрасывайте посадочные талоны, помните?
- Да, конечно, я помню.
- Доброй ночи.
- Спасибо, и вам.

К половине двенадцатого он уже был готов — хоть трансфер встречать выходи. Посидел в кресле, закинув ноги на чемодан, пощелкал пультом от телевизора — ни одного русскоязычного канала, — задремал почти, встал и обошел номер, заглядывая во все углы, чтобы ненароком ничего не оставить.

И обнаружил за шторой на подоконнике, рядом с цветочным горшком, толстую книгу — по-видимому забытую соседом.

С обложки на Колесникова внимательно смотрел бородатый мужик — и взгляд его будто говорил с ноткой раздражения:

«Ну неужели!»

Над мужиком тянулась от края до края обложки надпись:

«Стихи, рассказы, статьи, очерки, интервью».

«И даже интервью», — подумал Колесников.

Еще выше пестрело название книги, а над ним мелко, вязью, нависали имя-фамилия.

Колесников взял книгу, открыл на первой странице и прочел — размашистое, написанное от руки, по диагонали:

«Желаю никому не надоедать».

И посвящение соседу.

И дата.

И изящное «От автора».

Пожелание было настолько смешное, что Колесников фыркнул, а потом сфотографировал книгу и отправил снимок соседу.

Думал позвонить, но вспомнил, что тому сейчас пересаживаться на Питер — а ну как уже летит?

Но сосед не летел — и тут же перезвонил.

— В аэропорту сажу! — крикнул он в трубку так, что слышно было, вероятно, в средних слоях стратосферы, и шумно высморкался. — Чай с облепихой пью!

— Подхватил? — спросил Колесников.

— Что? — не понял тот. — Хрена с два! Аллергия у меня!

Колесников сказал, что книга пряталась за шторой, сосед заохал.

— У меня всегда так! Верить, нет, не было еще поездки, чтобы что-нибудь не оставил! Надо побольше фигни всякой брать с собой, чтобы не обидно было забывать!

И он захохотал.

— Забери ее, будь другом, а, — попросил он. — Потом, как в Питере сядем — сядем ведь? обещал, смотри! — тогда и отдашь!



Колесников согласился — не оставлять же «Стихи, рассказы, статьи, очерки, интервью» за шторой.

— Ты почитай, кстати! — обрадовался сосед. — Это наш автор, ростовский, ему в прошлом году кирпич такой по гранту напечатали, премию даже какую-то дали.

— А подпись почему смешная такая?

— Какая подпись?

— Про «не надоедать».

Сосед расхохотался и хохотал так, что даже закашлялся, и получилось, что он сперва долго хохотал, а потом долго, столько же, кашлял.

— Аллергия, тетка ее подкурятина... — прохрипел он, откашлявшись. — Да это так, — и он снова хмыкнул, — свои приколы, ростовские.

Поговорили про то, как он долетел, вспомнили особо смешные истории из двух недель конференции, сосед спросил про то, как там — тут — Колесников.

— Да как?.. Хожу вот, брожу... Поужинал, прогулялся. Сумку собрал...

— Кипит жизнь, в общем! — хохотнул сосед и засуетился: — Ладно, друже, побегу я, а то не видать мне Питера... Будь здоров!

— И тебе того же.

— Я здоров! — крикнул сосед и отключился.

Телефон отправился поближе к розетке — чтобы дотянулся шнур — книга с бордатым мужиком на обложке — на тумбочку, пусть на виду лежит, чтобы не забыть; а в чемодан влезет вряд ли, вон какая толстенная, в руках придется носить; сам Колесников — со стаканом, к кулеру.

«Во время болезни рекомендуется много пить, — вспоминал он. — А вообще-то, мне уже как будто лучше, можно и без таблеток обойтись».

Он и впрямь чувствовал себя как будто лучше — возможно, прогулка встряхнула и «собрала», — разве что горло саднило по-прежнему.

Пока он стоял в коридоре и пил стакан за стаканом горячую — кипяток почти — воду, мимо снова прошелся старик казах. И снова Колесников поздоровался, а старик только посмотрел равнодушно из-под век и мелкими, неторопливыми шажками, совсем бесшумными из-за ковра, двинулся дальше по коридору.

По пути в номер Колесников зачем-то попробовал шагать так же мелко и неторопливо, как старик — даже сам себя представил стариком, даже на секунду какую-то сам себе поверил, почувствовал, что ему лет семьдесят, не меньше. А в номере поставил будильник на четверть третьего, прикинул, что спать осталось чуть больше двух часов — лучше, чем ничего, впрочем, — разделся, влез под одеяло, оставив гореть небольшую лампу над кроватью. А потом стянул с тумбочки книгу, открыл наугад в середине и прочел длинное эмоциональное стихотворение, в котором автор ругал коллег по цеху за безразличие.

К чему именно были безразличны коллеги, Колесников так и не понял, но некоторые обороты его впечатлили — он решил даже, что можно их как-нибудь озвучить на кафедре, между делом.

Он вернул книгу на тумбочку, погасил свет и какое-то время лежал, прислушиваясь к боли в горле, к далеким шагам не то по коридору, не то по лестнице, к стрекоту наручных часов. Квадратик неба за балконной дверью все же оказался светлее стескивающих его стен, и в нем — черно-синем, глубоко — засеребрились звезды, и сквозь наваливающееся забытье Колесникову подумалось, что созвездия здесь, должно быть, такие же, как и дома, и можно найти — нужно было найти — и Медведиц, и Орион, и эту... как ее...

Ему приснилось, что он заходит в магазин. В магазине этом продается всякая всячина — от инструментов до игрушек. Он ходит между рядами и выбирает что-то —

а что именно, и сам не знает. Приближается к разговаривающим у кассы продавцам, чтобы спросить, прислушивается к их разговору и понимает, что оказался в прошлом — недалеко, а все же прошлым.

Как только Колесников это понимает, в магазин заходит Павел Александрович — выглядит он чуть моложе себя нынешнего: нет еще седины в волосах, лицо как-то посвежее, плечи пошире. И ведет он себя прямо вот дерзко — по телефону кого-то отчитывает, глядит по сторонам с вызовом, шагает вразвалку.

Колесников сперва стоит и смотрит, а потом все же подходит и здоровается. И руку тянет — для рукопожатия.

Павел Александрович руку не берет. Смотрит равнодушно, вскинув бровь.

— Мы знакомы?

Колесников остается стоять с протянутой рукой, хочет сказать, что вот спустя сколько-то... сколько?... лет мы с вами, Павел Александрович, будем вместе работать, будем хорошо общаться и даже, можно сказать, подружимся, что я, Колесников, даже поеду вместо вас в Казахстан на конференцию, буду две недели пить вино и чесать затылок на круглых столах, а потом, под занавес, разболеюсь, чтобы не отставать от коллектива — хочет сказать, но вспоминает, что с путешествиями во времени надо быть осторожнее — мало ли что там нарушится в сложном устройстве вселенной? Смотрит на Павла Александровича пристально, убирает руку.

— Нет, не знакомы.

И просыпается оттого, что надрывается, голосит откуда-то из-под кровати, скребет, вибрируя пол, будильник.

И снова Колесников проснулся совершенно разбитым — даже сильнее, чем перед ужином. Суставы выкручивало, мысли плавали туда-сюда громоздкие, тяжелые, похожие друг на друга, и их приходилось расталкивать с усилием, чтобы хоть что-то понять.

«Обошелся, блин, без таблеток, — похвалил себя Колесников, — молодчина». Прищурился, зажмурился почти, разглядывая экран телефона, прикидывая, сколько еще есть времени и что за это время нужно успеть, влез в джинсы и вывалился в коридор, покачиваясь, направился к кулеру исправлять ошибку.

Кулер булькал так оглушительно, что его, наверное, слышал летящий в Петербург сосед — бульканье уносилось по пустому, тихому до жути коридору, проваливалось в лестничные пролеты.

На этот раз старик казах мимо не прошел: должно быть, сейчас он — если не проснулся от бульканья — спал в своей кровати и видел пятый сон.

«Почему именно пятый?» — подумалось Колесникову.

И ему вдруг — сквозь жар и сонную одурь — показалось удивительным и странным: в его, старика, снах звучит не русская речь, к которой Колесников, как ни крути, за столько лет привык, а казахская! Увидь Колесников его сны, он и не поймет ничего — как не понимал он, о чем говорят из санаторного телевизора.

Мысль эта — такая же громоздкая и неповоротливая, как и остальные — показалась ему внезапно необычной, революционной почти — дожить до двадцати восьми и впервые задуматься о таком! — он даже замер у кулера после того, как расправился с таблеткой, и не пошел в номер сразу. А когда пошел, то продолжал катать эту мысль, рассматривать ее со всех сторон, примерять на остальные языки.

«Так ведь и мои сны другим будут непонятны, — удивился Колесников еще больше, вернувшись в номер. — Вот так дела».

Это было последнее звено логической цепочки — последнее открытие из столь впечатляющей череды. Оказавшись в номере, включив свет и наткнувшись взглядом

на чемодан, обернувшись на часы справа от вешалки, Колесников охнул и приступил к действиям.

В какие-нибудь несколько минут он умылся, поскреб зубы щеткой, бросил щетку вместе с пастой в несессер, а несессер — в чемодан, обежал номер, выискивая забытое, упал даже животом на пол, заглянул под кровать, на балкон высунулся — распаренный, взъерошенный, виски лизнуло холодом — нашел-таки в нижнем ящике тумбочки, в самом углу, ручку с логотипом конференции. Накинул куртку, обвязался для верности шарфом, подхватил книгу — «Стихи, рассказы, статьи, очерки, интервью», — вытолкал в коридор чемодан, закрыл номер на ключ, подергал для верности ручку и зашел вниз.

Стащил чемодан по ступеням, гулко прошагал по пустому холлу к стойке администратора, вернул ключ, поблагодарил, закашлявшись, за теплый прием, услышал дежурное «приезжайте еще». Выбрался на крыльцо, цыкнул каменным тиграм и покатил чемодан по дорожке — у ворот уже горели нетерпеливо фары.

Колесики цокали по плитке едва ли не громче, чем булькал кулер и хохотал сосед — далеко было слышно их цоканье в холодном, прозрачном воздухе.

— Я думал, вы позвоните, — выдохнул Колесников, закидывая чемодан в салон микроавтобуса, влезая за ним следом.

— А надо было? — спросил равнодушно водитель.

Водитель был тот самый, что днем увозил в аэропорт остальных — спросив, надо ли было звонить, он коротко обернулся и посмотрел на Колесникова сонными глазами.

— Да не то чтобы... — пожал плечами Колесников и чихнул в рукав.

— Будьте здоровы.

В голосе Колесникову почудилось неудовольствие.

— Спасибо.

Он уселся к окну, двигатель с готовностью заурчал — обернулись вокруг ворота, выпустили наружу, и микроавтобус понесся вниз по пустой улице, навстречу морю из огней.

Колесников распахнул куртку — жарко, стянул шарф, обтер им лицо. Чихнул еще раз — бесшумно, чтобы не нервировать водителя, — положил на соседнее сиденье книгу — бородатый мужик — сам поэт, судя по всему, автор и очерков, и рассказов, и статей — строго уставился в низкий потолок.

И всю дорогу Колесников смотрел за окно — на спящий, но все же полный огней и света город. Мелькали мимо редкие автомобили, у ресторанов маячили компании курящих, и надо всем качалось — качался, конечно, микроавтобус, чередуя подъемы со спусками, вписываясь в повороты — надо всем качалось, мерцающая песчинками звезд, чернильно-черное небо, и казалось, что оно вот-вот опрокинется на манер ковша и выльется на землю, хлынет по улицам и проулкам.

Гор видно не было — Колесников даже потерялся и не понимал, в какой стороне их следует искать.

Время от времени он начинал проваливаться в дрему — и даже видел уже одним глазом обрывки бессвязных, мутных снов, но подсказывал на очередном лежащем полицейском и просыпался.

А потом вырос, раскинул крылья корпусов аэропорт, и водитель сбавил скорость, покатился неспешно — и катился так до самого крыльца.

— Успеваете? — бросил он через плечо, дергая ручник.

— Конечно.

На прощание он пожелал не болеть — и в голосе Колесникову снова почудилось неудовольствие.

— И вы будьте здоровы, — пожелал Колесников в ответ, затягивая шарф плотнее.

— Спасибо... — вздохнул водитель, закрыл дверь и уехал.

Колесникову стало неловко — точно он был в чем-то виноват, но обдумать свою неловкость как следует он не успел, потому что, едва войдя в аэропорт, оказался окружен сотрудниками службы безопасности.

Возможно, они заметили Колесникова еще сквозь стеклянные двери.

Ну то есть как окружен? Сотрудников было всего двое — один постарше, один положе, но как-то они так ловко вокруг Колесникова задвигались, что он и впрямь почувствовал себя окруженным, прижатым даже к стене, если не к ногтю, и оттого как будто еще сильнее в чем-то виноватым — и уже приготовился раскрывать чемодан.

Но раскрывать чемодан не пришлось — хотя, как оказалось, интересовал сотрудников именно он.

— Братан, — обратился к Колесникову тот, что постарше, с сединой в волосах. — Братан, сколько твой чемодан весит?

Сквозь жар — таблетка то ли отказывалась действовать, то ли спасала от совсем уж полубомбочного состояния — сквозь жар, неловкость и желание избавиться от ненавистного, стягивающего шею шарфа Колесников ответил машинально:

— Килограмм восемь-девять.

Сотрудники просияли и переглянулись радостно.

— Братан, выручи нас, пожалуйста. Ты ведь в Москву летишь, да?

Колесников кивнул неуверенно.

— Выручи, пожалуйста, передай земляку соус.

Колесников вообще ничего не понял, просьба передать какому-то земляку какой-то соус — почему сами не передадут? ему улетать через два часа — прозвучала как заклинание.

Он мотнул головой непонимающе.

Сотрудники переглянулись, молодой всплеснул руками.

— Ну соус! — пояснил тот, что постарше. — Соус, обыкновенный. Земляку надо передать в Москве.

До Колесникова наконец-то дошло.

— Передашь? Братан, выручай, без тебя не справимся. Земляк сам должен был прилетать, да сорвалось у него, а без соуса никак — ему работать надо.

Колесников замялся, забормотал что-то.

— Братан, на тебя одна надежда, выручай. Все официально, видишь, мы ж работаем тут, спроси у кого хочешь.

И они завертели беджиками, потащили из карманов удостоверения и даже, кажется, паспорта.

После Колесников много раз гадал над тем, что же сыграло в тот момент решающую роль: то, что он оказался в подобной ситуации впервые и был застигнут врасплох, или то, что голова его из-за жара и прерванного сна работала абы как. Возможно, оба фактора повлияли на то, что Колесников согласился.

Сотрудники только что обниматься не полезли.

— Спасибо тебе, братан! — тряс Колесникова за руку тот, что постарше. — Я вот сразу тебя как увидел, сразу понял, что ты добрый малый, что ты не откажешь. Я так и сказал, подтвердишь?

И он смотрел на молодого.

Молодой кивал так, что беджик на его груди прыгал.

— Только мне имена ваши записать надо будет... — проговорил Колесников, уже понимая, что совершает глупость.

— Конечно, братан! Какие вопросы! Пошли, пошли! Амир, он с нами!

Амир — курирующий рамку металлоискателя — пожал плечами и показал на невысокий столик. Колесников закинул чемодан на конвейер — он тут же уполз в темное жерло короба, и Колесников каким-то краем сознания пожелал ему не возвращаться — выложил на столик книгу, высыпал сверху содержимое карманов, включая ручку с логотипом конференции, рассовал по местам, пройдя через промолчавшую рамку. Подхватил выползший все-таки из короба чемодан.

— Пошли, братан, пошли, дорогой, — заторопил тот, что постарше. — Тебе же еще регистрироваться.

И они заспешили к одной из стоек, а Колесников шел за ними и чувствовал, как нарастает где-то внутри, заполняет грудную клетку беспокойство.

Но не отказывать же, раз согласился? Да? Ведь да?

Прошли мимо стойки и оказались у машины, заматывающей багаж в целлофан.

Молодой, натужившись, выдернул откуда-то из-за машины внушительных размеров — с сам колесниковский чемодан — пластиковую канистру, скрутил крышку.

— Вот, — пояснил он. — Загляни, удостоверься, что соус.

В широком горлышке блеснула оранжево поверхность какой-то жижи.

И прежде чем Колесников успел что-то сказать, машина загудела, и сотрудники службы безопасности — постарше и помоложе — намертво, в дюжину слоев, примотали к чемодану канистру с соусом.

Беспокойство, заполнявшее грудную клетку Колесникова, вышло за ее пределы и заполнило все его тело — от ногтей на ногах до слипшихся на лбу от пота волос.

Все дальнейшее произошло стремительно: Колесников вручили номер «земляка», который будет ждать в аэропорту, если не на взлетной площадке, дали сфотографировать — настояли! — беджики, Колесников воспользовался случаем и сфотографировал для верности и самих сотрудников, подтащили к ближайшей стойке и провели через нее, сообщив еще одному Амиру, что Колесников — «свой», водрузили несчастный чемодан, которого теперь и видно не было из-за канистры, на весы, кивнули удовлетворенно — весы поморгали и высветили калькуляторное, из палочек «24», провели через все кордоны контроля, кивая Амирам, поблагодарили еще раз и распрощались с Колесниковым, оставив последнего под вывеской «Duty Free» с книгой в руках.

Чемодан сразу с весов отправился в самостоятельное багажное путешествие.

Ощущая, как беспокойство все плотнее пропитывает все его существо — кожу, мышцы, дурацкий жирок на боках, кости, выдавливая из них ломоту, — Колесников, точно во сне, пробрел мимо магазинчиков и кофейных островков в зал ожидания и уселся на первое свободное место, положил книгу на колени.

Людей в зале ожидания было на удивление — для ночи — много. Они ходили от павильона к павильону, сидели на выгнутых скамьях, пили кофе из картонных стаканов, дремали, опустив голову на грудь или запрокинув к высокому потолку, хмурились в экраны телефонов, читали, позевывая.

Изо всех сил светили сверху и снизу, справа и слева сотни ламп, из невидимых колонок то мурлыкала негромко музыка, то звучали объявления — по-казахски и по-английски.

На табло светились желто-зеленые букочки: Moscow, Astana, Dubai.

Колесников сидел не шевелясь и ощущал все явственнее, что уже весь состоит из беспокойства, как состоят из пластика игрушечные человечки — разломай ногу и смотри на одноцветный скол.

Затем беспокойство стало сменяться тревогой.

Сидящая неподалеку от Колесникова девушка-казашка отыскала в сумочке звенящий мелодией телефон, ответила и принялась громко и весело разговаривать по-своему — смеясь, встряхивая черными прядями.

Как только все беспокойство сменилось тревогой, Колесникова накрыло ревущей волной ужаса — накрыло и придавило, смяло, вжало в скамью. Улетучился жар, растаяла одурь — Колесников даже схватился за книгу с бородатым мужиком — так хватаются за кусок пенопласта обучающиеся плаванию.

«Что я наделал? — запульсировало в его висках. — А вдруг мне к чемодану примотали шестнадцать килограмм наркотиков?»

Девушка-казашка говорила и спрятала телефон, но сидела теперь веселая, радостная — сидела и смотрела перед собой, думала о чем-то.

«А если это не наркотики, а...»

Волна ужаса поднялась над Колесниковым и ударила по нему снова, подхватила, закружила, понесла вверх по улицам к санаторию, в теплый и тесный номер.

И какое-то время Колесников, сидел точно наковальной придавленный, и то костерил себя последними словами, то почти шептал: «Лишь бы наркотики, лишь бы наркотики, лишь бы наркотики, только не... Пусть меня посадят, пусть сгнию я в тюрьме, только не...»

Во взгляде бородатого поэта читалось такое осуждение, на которое, казалось, человек вообще не способен — и уж тем более не способна его, человека, фотография.

Колесников встал и на ватных ногах двинулся через весь зал к информационной стойке.

За стойкой клевал носом молодой человек в форме — тоже, возможно, Амир.

— Вы что-то хотели? — спросил он по-русски и потер глаза.

Колесников объяснил, что ему срочно нужно видеть начальника службы безопасности — самого главного из всех, что есть.

— По какому вопросу?

Колесников забормотал что-то про крайне важное дело, про то, что дело это не терпит отлагательств и так далее.

Вид Колесникова молодого человека, вероятно, насторожил — потому что он кивнул и вышел из-за стойки, покинул зал, попросив подождать.

Через несколько минут он вернулся с высоким широкоплечим мужчиной с выбритым до синевы квадратным подбородком.

— Вы что-то хотели?

И он представился.

Как понял Колесников, молодой человек привел не самого главного начальника, а одного из его заместителей — просто начальника, заведующего какими-то там определенными зонами аэропорта.

Колесников помялся, а потом как на духу рассказал обо всем — и о чемодане, и о соусе, и о сотрудиках с беджиками.

— Вот, — и он протянул начальнику телефон с фотографиями, — эти.

Оба — и начальник, и молодой человек — всмотрелись в экран. И пока они всматривались, Колесников тараторил про то, что виноват, про то, что и наказание готов, если нужно, понести, про то, что лишь бы... лишь бы не пострадал никто, а там будь что будет, и что дело, видимо, в том, что он в подобные ситуации прежде никогда не попадал и потому и растерялся, что, конечно, не снимает с него ответственности.

— Эти двое у нас действительно работают, — остановил Колесникова начальник. — И Хорошо, что вы все-таки решили... сообщить.

Колесников развел руками в стороны, вытер лоб.

— Что согласились... использовать багаж, — продолжил начальник, — это, конечно, неправильно, так делать нельзя. Но что подошли и сообщили — хорошо.

Он улыбнулся успокаивающе.

— Да на вас лица нет. Номер посадочного талона скажите.

Колесников выдернул из кармана паспорт, из паспорта — талон и прочел номер.

— Не волнуйтесь, чемодан ваш еще раз проверят... отдельно, — начальник вздохнул, покачал головой, провел ладонью по квадратному подбородку. — Это у нас не первый случай с... — он кивнул на телефон, — товарищами. Садятся доверчивому пассажиру на хвост — и втюхивают свое добро. А пассажирам потом думай... что они везут.

Колесников почувствовал, как волна ужаса отступает и на ее место возвращается тревога.

— Но больше... — начальник нахмурился, посмотрел строго, как поэт с обложки. — Больше, я надеюсь, вы таких глупостей делать не будете. Вдруг и впрямь навались бы на...

Он не договорил.

Колесников прижал руку к груди — не рисуясь, не искусственно, а от избытка эмоций — и пообещал, что нет, не будет никогда и ни за какие деньги и всех-всех предупредит, чтобы и они не... вздумали.

— Ну и славненько, — снова улыбнулся начальник, и Колесникову показалось, что так искренне и тепло ему улыбалась разве что в детстве мама. — Ожидайте рейса, у вас во сколько вылет?

Колесников ответил.

— Выпейте кофе, почитайте книжку, — начальник показал на книгу у Колесникова под мышкой, козырнул с кивком и удалился, на ходу снимая с пояса рацию.

Молодой человек вернулся за стойку и кивнул, точно подтверждая: выпейте кофе, почитайте книжку.

И Колесников действительно пошел и выпил кофе — у одного из островков, за узкой, под дерево, стойкой — и даже прочел за этой же стойкой пару-тройку стихотворений из самого начала сборника: эти стихи рассказывали о юношеской любви и были совсем не похожи на полемику с коллегами — зато были пронзительными и искренними, откровенными даже, и в другое время Колесников связал бы их с Олей: в одном даже упоминалось совместное прослушивание музыки, даром что не поход на концерт, но мысли его все еще занимало вынужденное соседство чемодана с канистрой.

Расправившись с кофе, Колесников решил, что в такой ситуации — сердце все еще нет-нет да и бухало в груди — не будет зазорным и покурить, попросить у кого-нибудь сигаретку-другую, как просил он у соседа по номеру все эти дни, подымить задумчиво у окна.

Колесников нашел взглядом нужный указатель, отклеился от стойки и прошагал к неприметному лифту в углу зала — завернув по пути в ближайший магазинчик и купив втридорога зажигалку: просить сигарету — это одно, а приставать к людям «пустым» — уже совсем другое.

Лифт с мягким гудением сполз на этаж ниже, двери его разъехались — и по указателям Колесников прошел в вытянутое застекленное помещение, напоминающее не то теплицу, не то закрытую террасу ресторанчика.

В помещении плавал клубами дым, гудела надрывно вентиляция, и вокруг высоких пепельниц ходили, стояли и сидели на металлических стульчиках курильщики.

Были тут и казахи, и не казахи, и деловые какие-то люди в пиджаках, с портфелями, и туристы в дутых куртках, с рюкзачками, и молодежь, и старики. Колесников, изви-

нившись, попросил сигарету у одного из туристов, упомянул, что, вообще-то, не курит, бросил давно, но вот бывают же ситуации, развел руками на понимающий взгляд, попросил еще одну, на всякий случай, и пробрался в самый конец, к дальней стене, прикурил.

Эта стена тоже была стеклянной, и к ней прижималась с той стороны прозрачная, черная, в огнях, ночь — по взлетному полю сновали машинки с трапами, перебежали работники в кислотно-зеленых жилетах. В отдалении стояли неподвижно самолеты — огромные, точно мифические звери, с мерцающими округлыми боками, тонкими и острыми крыльями, черными овалами иллюминаторов.

Через небо, от звезды к звезде, полз, мигая разноцветными огоньками, один такой — недавно, по-видимому, взлетевший.

Колесников курил, морщась: крепкие, смотрел за окно и чувствовал, как тревога оборачивается беспокойством, а беспокойство вытекает из костей и уже не пропитывает его целиком. Еще Колесников чувствовал, как кружится — крепкие — голова и саднит снова горло, о котором он напрочь во всех этих волнениях позабыл.

— Дружище, огня не будет? — окликнули его из-за спины.

Колесников обернулся и протянул зажигалку рослому, солидно одетому — пиджак, галстук в полоску, часы из-под рукава — казаху. Казах прикурил тонкую коричневую — табачный лист — сигарету, несколько раз глубоко затянулся, выпуская дым через ноздри, передал сигарету своей спутнице — высокой и худощавой, с длинными прямыми волосами, похожей на Зылику из санатория, какой та была, вероятно, лет двадцать назад.

— Только тяни посильнее, — сообщил казах спутнице.

Спутница закашлялась, скривила лицо, казах усмехнулся и достал из внутренне-го кармана пиджака еще одну коричневую сигарету — себе. Прикурил, затянулся и задержал дыхание, посмотрел на Колесникова, вернул зажигалку. Губы его растянулись в улыбке.

— Травку бу-удешь? — спросил он Колесникова.

— Нет, спасибо.

Казах пожал плечами, усмехнулся и, увлекаемый за локоть спутницей, отошел.

Колесников докурил выпрошенные у туристов сигареты, пролез к выходу, чувствуя, что одежда его пропиталась дымом так, что он теперь будет выветриваться из нее годами, вернулся в зал ожидания, выпил еще кофе, заел леденцами и все время до объявления на посадку читал — на этот раз выбор пал не на стихи, а на рассказ. В рассказе шла речь о мужиках, собирающихся на зимнюю рыбалку — о том, как они всю неделю мечтают о выходных, а потом ни свет ни заря съезжаются к реке и разбредаются по льду, обновляют затянувшиеся с прошлой поездки лунки, разливают по кружкам содержимое термосов — у кого что, в зависимости от статуса водителя или пассажира.

Рассказ был написан хорошим, стройным языком и читался легко, но видно было, что писал поэт: время от времени прорывалось в тексте что-то из стихов, какое-нибудь «полусудое, точно стареющая баронесса, утро» или «мороз, разговаривающий на своем языке». Пока Колесников читал, на него несколько раз наваливалась, несмотря на выпитый кофе, дремота — и приходилось садиться на скамье ровнее, встряхивать головой.

«А вот и чтение, — подмечал Колесников, — тоже ведь похоже на сон».

Вспоминался несчастный чемодан — и Колесников думал, что хорошо бы, если бы начальник с квадратным подбородком проверил там все, а потом отчищал эту канистру к хренам, вернул тем, кто ее Колесникову вручил, а может, и оставил бы кинуть



в какой-нибудь подсобке, чтоб неповадно было, — и по затылку Колесникова пробегал холод, но казалось, что все это, все эти обматывания и взвешивания, общение с начальником и ледяные волны ужаса если и происходили, то когда-то давно или вообще во сне.

Одним из первых он поднялся на борт самолета, пролез к своему месту — середина, ногой в проход, — закинул куртку на багажную полку, сел, дождался, пока загудит двигатель, пока проведут инструктаж, пока самолет не задрожит, разгоняясь, и не оторвется с усилием от земли. «До свидания, земля», — подумал Колесников. Он вытянул шею и увидел мимо затылков тех, кому повезло сидеть у иллюминаторов, как удаляются, уменьшаясь в песок, огни города, как поворачивается, наклоняясь, светящее на востоке небо, как царапают его призрачные, в дымке, горы.

Во время полета он либо читал, либо спал беспокойным, тревожным сном — никогда у Колесникова не получалось нормально спать сидя: ни в самолетах, ни в автобусах, ни в сидячих вагонах поездов, даже стискивающие шею подушки не помогали — и видел во сне то канистру с соусом, то конференцию и старика из коридора, то Олю, то вдруг встречу одноклассников в крошечном кабачке, то персонажей недавно просмотренного фильма. Один из снов забросил его в переполненную маршрутку, прыгающую по ухабам деревенской дороги, — он сидел, подтянув колени к животу на самом неудобном и тесном месте маршрутки, а его еще в довесок ко всему толкал в спину — прямо через спинку кресла — какой-то мужик, сидящий сзади.

— Не толкайтесь, — попросил Колесников, обернувшись кое-как.

Мужик перестал толкать, посмотрел с прищуром.

— Не буду, — сказал он. — Теперь что, драться полезешь?

— Нет, — ответил Колесников. — Не знаю, как у вас в Болдине, а у нас, в крупных городах, люди друг друга стараются беречь и друг к другу относятся уважительно.

Почему он назвал именно Болдино, он понятия не имел — он и в Болдине-то никогда не был и знал о нем только из статей о Пушкине.

Остальные пассажиры — самолета, не маршрутки — преимущественно спали, несколько человек даже храпели, те, кто сидел у иллюминаторов, наблюдали за встающей над облаками зарей. Кто-то, как и Колесников, читал, кто-то горбился над ноутбуком. Если не считать гудения двигателей и курсирующего по рядам храпа — храпящие точно эстафету перенимали, один замолкал, друг вступал вместо него, — в салоне царила тишина. Можно было расслышать, как играет в чьих-то наушниках музыка.

Вообще ничего особенно примечательного за полет не произошло — если не считать казуса с соседями, который и казусом-то назвать сложно, так, забавный пустяк разве что.

В соседи Колесникову досталась милая пара — парень и девушка, причем места они распределили так, что Колесников сидел по левое плечо от девушки, а парень — по правое. Едва самолет набрал высоту, они размотали наушники, разделили премило между собой и стали что-то слушать — а потом очень быстро уснули: парень — вскинув гордо подбородок, девушка — положив голову ему на плечо.

Спустя час полета, за который Колесников успел несколько раз провалиться в полную образов и диалогов в маршрутках дрему и вынырнуть из нее в сборник «Стихов, рассказов, статей, очерков и интервью», он краем глаза увидел, как девушка, не просыпаясь, выпрямилась. Затем она склонила голову на бок — но не на тот, что прежде — и устроилась на плече Колесникова.

В нос Колесникову — даром что заложен и дышит кое-как — ударил запах шампуня.

Колесников в это самое время пробирался через интервью бородатого поэта — и в нем тот снова, как и в первом стихотворении, ругал на чем свет стоит коллег, сетовал на падение нравов и общую необразованность. На каждый вопрос поэт выдавал речь одна пламеннее другой, горячился, громил и тех, и этих, сыпал едкими фразочками и остротами, но делал это почему-то так забавно, что не вызывал никакого негатива — и Колесников, читая, порядком развеселился. Поэтому и неожиданное доверие со стороны соседки он воспринял весело — и едва не фыркнул.

Девушка повозила головой, устраиваясь поудобнее, и засопела, а Колесников, сдерживая желание все-таки фыркнуть, стал обдумывать дальнейшие действия — не сидеть же, как сидел, усни так у кого-нибудь на плече Оля, он бы не обрадовался — и решил, что будить лучше всего не девушку — неловко как-то, а парня.

Осторожно, стараясь не шевелить плечом, он мимо девушки потянулся левой рукой к парню — чтобы ткнуть его в локоть.

Ожидаемо не дотянулся.

Тогда Колесников, осознавая всю комичность ситуации и оттого еще больше веселясь, закрыл книгу — поэт посмотрел строго, но не всерьез строго, а как бы напоказ, скрывая как раз шутливое настроение — и потянулся к парню книгой.

Не дотянулся.

Тогда Колесников подавил смешок, устроил книгу на столике и осторожно похлопал по руке девушку.

— Девушка, — позвал он ее шепотом. — Девушка.

Нет ответа.

— Девушка, просыпайтесь, — позвал он чуть громче.

Не закричишь же человеку на ухо.

Девушка снова повозила головой и продолжила сопеть.

Колесников еще какое-то время хлопал ее по руке, окликал негромко, оглядывался на сидящих через проход казахов — спящих головы на грудь, а потом встретился со взглядом поэта на обложке и наконец затрясся не в силах сдержать смех.

Плечо его затряслось в первую очередь — и девушка проснулась. Одним движением она вскинула голову и непонимающе, с обидой даже как будто, посмотрела на Колесникова.

Тот не успел принять серьезный вид и встретил ее улыбкой.

Девушка нахмурилась и села ровно. Колесников мысленно крикнул — «неловко вышло» — и вернулся к пламенному интервью и читал до тех пор, пока оно не закончилось призывом непременно, в обязательном порядке, через боль и слезы — так и написано было: «через боль и слезы» — учить стихи наизусть.

К фразе про «боль и слезы» девушка уже спала на плече у парня.

Колесников заложил книгу пальцем и стал прикидывать, сколько стихотворений он знает наизусть и может, например, вот прямо сейчас, попроси его кто-нибудь, прочесть. Выходило что-то около восьми или девяти, включая состоящие из одного четверостишия. Он стал под строгим — снова просто строгим — взглядом поэта декламировать их про себя, вспоминать какие-то обрывки, которые не идут в зачет, но почему-то лежат в памяти нетронутые, и не заметил, как провалился в дрему и уже уходит от преследователей по тесным, в метр шириной, пробираться по которым можно только боком, коридорам и лестницам.

Потом он проснулся, вздрогнул даже — соскользнула с очередной ступеньки нога — и стал листать книгу, скользить бездумно взглядом по тексту, потом снова задремал, и началась уже ставшая привычной чехарда: минуты неглубокого, мутного сна сменялись минутами рассеянного, полубессознательного бодрствования — и наоборот, и так по кругу.

Наконец он уснул более или менее крепко и увидел огромный, страшно длинный сон, в котором заново отучился в университете — во сне учиться пришлось семь лет вместо пяти — едва из него не вылетел за неуспеваемость — как и было на самом деле — взялся за ум и затесался чуть ли не к отличникам, написал несколько курсовых и защитил диплом, четырежды прошел практику, прокатился на несколько форумов, страшно, до рвоты, напился на выпускном — и потом вдруг сразу оказался на кафедре, миновав пару лет скитаний и попыток найти место не по специальности.

Заканчивался сон ремонтом в помещении, которое занимала кафедра: вместе с Павлом Александровичем и остальными — Оли еще не было — Колесников сдирал со стен обои, разбирал и выносил в коридор стеллажи, не вынимая из них папки и книги.

— Что у вас, — спросил, проходя по коридору, декан, — ремонт опять?

— Ремонт, — ответил, крихтя, Павел Александрович и ногой пихнул компьютерное кресло к колонне.

— А давайте я вам помогу, — предложил декан и стал закатывать рукава.

Колесников проснулся и понял, что голова соседки снова лежит на его плече.

Спал он, по-видимому, с открытым ртом, большое горло пересохло. Сколько прошло времени, он не знал.

В иллюминаторы — те из них, что не были закрыты пластиковыми заслонками — били широкие лучи, разворачивались веерами, подсвечивали то чью-нибудь макушку в вихрах, то туристические буклеты в сеточных карманах.

В дальнем конце салона, у шторок, шептались стюардессы.

Колесников проснулся окончательно, удивился сну, вспомнил, что читал где-то: сон может казаться сколь угодно длинным, но вмещается в мгновение перед самым пробуждением и, по сути, пробуждением и вызывается, а потому не имеет смысла сетовать на сны, прерванные, казалось бы, на самом интересном месте. И только потом задумался о том, как быть с тем, что его плечо вдруг неожиданно для него самого оказалось столь привлекательным и удобным.

Девушку Колесников будить не стал. Осторожно, стараясь ее не потревожить, он вытянул шею, повернулся к парню, набрал в рот воздуха — и дунул в его сторону раз, другой, так, что у того зашевелился край челки.

Парень пробормотал что-то, опустил подбородок и открыл глаза, заморгал, просыпаясь. Потом повернулся, посмотрел удивленно на девушку, поднял взгляд на Колесникова.

«Такие вот пироги, — сообщил ему Колесников взглядом. — Спишь себе, никого не трогаешь, а за твоим плечом прямо очередь выстраивается».

Парень тряхнул головой, извиняясь, приобнял девушку и перекатил ее к себе — на полпути она приоткрыла глаза, посмотрела мутно вокруг и нахмурилась, но тут же снова уснула и засопела.

Колесников тоже постарался уснуть, перечитал мысленно все стихи, даже овец посчитал, не особенно рассчитывая на результат, и вернулся к чтению.

И читал до самой посадки то стихи, то остальные интервью, не такие пламенные, как первое.

Когда за иллюминаторами выросли, вытянулись к серым облакам серые московские высоты, когда грузно ударились по полосе, загудели шасси, когда замелькал, а потом замедлился густой ноябрьский снегопад — снег лип к стеклам и собирался горками у бортиков, — когда проаплодировали пилоту пассажиры и самолет стал понемногу с неохотой замедляться, как бы недовольный тем, что его спустили с небес на землю, а потом и вовсе остановился, Колесников — еще уши не перестали болеть — включил телефон и набрал выданный в алма-атинском аэропорту номер Ескали.

Соседи, едва погасло требование пристегнуть ремни, выпрыгнули из кресел и вклинились в длинную — мгновенно собравшуюся — очередь на выход.

Ескали долго не брал трубку — даже очередь двинулась, — а потом закричал так, что у Колесникова пробило заложенное ухо:

— Так дела не делаются! Они меня предупредить забыли! Я в центре Москвы!

Получалось, что вместо того, чтобы ждать канистру в аэропорту, Ескали спокойно занимался своими делами в городе.

— Я все понимаю, — спокойно сказал Колесников. — Но мне сейчас в другой аэропорт — и на другой самолет. Времени в обрез.

— Я перезвоню!

Через несколько минут Ескали перезвонил и, извинившись, сообщил, что в аэропорт уже летит на всех парах еще один «земляк» — а Колесникову в сообщения летит номер, воспользоваться которым, впрочем, не придется, так как «земляк» позвонит сам, как только приедет, Колесников еще багаж не успеет забрать.

Но багаж Колесников забрать успел.

В составе длинной очереди — под насмешливыми взглядами остающихся сидеть на своих местах до последнего — Колесников, шмыгая и покашливая, выбрался из самолета, просеменил по кишке коридора в терминал, отстоял ту же, кажется, очередь к стойке паспортного контроля, подмигнул, задрал голову, своему отражению, нашел нужную ленту, по которой уже ползли сумки и свертки, простоял рядом с ней в толпе, поглядывая на часы под потолком, издали увидел, как лента несет канистру, рядом с которой болтает беззащитно колесиками чемодан, пролез ближе, дождался и стянул на твердую землю двадцатипятикилограммовое подтверждение своей глупости, кое-как отволок в сторону — опасаясь за колесики — и позвонил земляку сам, отчаявшись ждать.

— Минуту! — крикнул земляк. — Клиента высаживаю!

Он назвал номер такси, марку и цвет и пообещал через минуту натурально быть у ближайших к Колесникову дверей.

— Можете выходить!

Колесников, считая в уме время до следующей регистрации и сопоставляя его с расписанием мелькающего из одного аэропорта в другой аэроэкспресса, оттащил чемодан к дверям и вышел на улицу.

Тут же на него обрушился весь, казалось, московский снегопад: ранний, плотный, из крупных липких хлопьев, тающих от одного прикосновения к асфальту и оттого, точно в воздухе, не касаясь земли, клубящихся. Ветер полез за шиворот, снег налип на ресницах и бровях, Колесников набросил капюшон, вжался в воротник так, чтобы наружу смотрели из-под шапки одни только глаза.

В снежной круговерти перед ним вытягивались бесконечные ряды автомобилей, две трети которых составляли такси.

Две трети такси подходили по описанию — за исключением номера, разумеется.

— А я жду уже! — сообщил земляк в трубку. — Вот он я, припарковался!

— Ряд-то хоть какой?

— Какой ряд? С какой стороны считать?

Договорились, что земляк вылезет и будет размахивать руками.

— Вылез!

Но Колесников никого не видел.

— А вы где стоите?

— У дверей.

— Не вижу!

— Вы извините, но мне на самолет надо. Я сейчас канистру просто отмотаю и здесь оставлю — заберите сами.

— Нет-нет, так не надо — где я ее потом искать буду? Я вообще не знаю, что там за канистра! Сейчас найдемся, идите вдоль окон!

Колесников пошел вдоль окон и увидел вдалеке у одной из машин размахивающую руками фигурку.

— Это вы машете?

— Я, кто же еще!

Поражаясь собственной силе, Колесников пронесся по парковке с чемоданом наперевес, чуть не отломал кому-то зеркальце и наконец опустил свою ношу перед земляком.

— Ни хрена себе... — пробормотал земляк и почесал затылок, сдвинув шапку на брови. — И куда мне ее девать?

Колесников — и без того красный, хрипящий паром — начинал понемногу закипать.

— Как куда? В багажник!

— В багажник! — хмыкнул земляк. — Багажник у меня забит...

И он бросился переключать содержимое багажника в салон. Колесников, уворачиваясь от снега, принялся сколупывать ногтями край — если это, конечно, был край — пленки, приковывающей канистру к чемодану.

— У вас ножа нет? — крикнул он сквозь ветер.

— Ножа? — Земляк похлопал себя по карманам, заглянул в салон. — Нет ножа!

Колесников уже боялся смотреть на часы.

— Готово! — крикнул земляк, разобравшись с багажником. — Давайте сюда!

— Какое сюда? Как я ее от чемодана отдеру?

Земляк подошел, склонился заинтересованно.

— Ключами, может?

Ключи могли подойти.

— Помогайте! — крикнул Колесников.

Он выдернул из кармана свои ключи — от квартиры, с брелком в виде бильярдного шарика, — сунул за пазуху, под куртку, сборник «стихов, рассказов, статей, очерков и интервью» и принялся распиливать пленку со своей стороны. Земляк, звеня тяжелой связкой, делал то же самое с другой.

— Ох, Ескали... — шипел земляк и ругался по-казахски. — Удружил так удружил...

Взмокшие, тяжело дышащие, они наконец освободили чемодан — и земляк, поскальзываясь, затолкал канистру в лохмотьях пленки в багажник. Он обернулся, чтобы попрощаться, пожать Колесникову руку, но Колесников уже летел обратно в аэропорт — а чемодан, легкий, как пушинка, красивый и свободный, летел, едва касаясь колесиками земли, вслед за ним.

А потом был поиск нужных дверей — через те, из которых Колесников вышел, можно было только выходить, — а потом была очередь к металлоискателю, а потом был выход к аэроэкспрессу, а потом был забег до платформы, а потом Колесников — задыхающийся, кашляющий, мокрый насквозь, в одной руке чемодан, в другой книга — сел ждать следующий экспресс взамен ушедшего несколько минут назад, уже понимая, что опоздал.

Для того чтобы совесть его была чиста, он решил все же сесть на поезд — и сел, выпив чашку страшно крепкого и страшно дорогого кофе у ближайшего к платформе островка. Сел, проехал половину пути, позвонил в аэропорт и уточнил, во сколько заканчивается регистрация, уточнил даже прямо, опоздал он или нет — опоздал, — и сошел на одной из станций в городе, поближе к метро.

Кашляя в воротник, протащил вновь потяжелевший чемодан по безлюдному, заметаемому снегом перрону, по гулкому, плитка в грязных разводах, подземному переходу, по узкому и вертлявому тротуарчику. Перекатил через порог расположившегося у входа в метро кафе, спустил по уходящим под землю ступеням, пристроил у столика в дальнем углу зала — полупустого, — вылез из куртки, бросил ее на вешалку и сел — под скептическим, «я в тебе не сомневался», взглядом бородатого поэта — думать.

Потом спохватился и сходил к стойке — заказал перекусить, дождался, забрал поднос с обколупанными краями, донес до своего места, пристроил рядом с книгой. И тогда уж снова сел — думать.

Думал Колесников, конечно, о том, что ему делать дальше.

Думал и ел.

«Следующий самолет — завтра утром», — сообщал он мысленно бородатому поэту.

«Не вариант», — отвечал поэт взглядом.

«Ближайший поезд... — Колесников листал расписание. — Через час».

И подводил итог: «Не успею».

«Не успеешь», — соглашался поэт.

Во взгляде поэта теперь не было прежней строгости — угадывалось даже что-то похожее на сочувствие, почти как будто отцовское.

«Следующий поезд... — Колесников снова листал расписание. — В шесть вечера. Других вариантов нет».

«Нет», — подтверждал поэт.

«А сейчас восемь утра», — делился Колесников.

Поэт смотрел, соглашаясь.

Получалось, что Колесникову предстоит толкаться в Москве чуть ли не целый день.

С этой мыслью он доел то, что заказал, и принялся за нечто заявленное в меню как пунш — прожигающее картонный стакан и бьющее в нос резким запахом цитруса.

«Ничего, — заставил себя усмехнуться Колесников, дуя на пунш, — сам виноват. Сам сделал глупость — сам за нее расплачиваешься».

Поэт смотрел с обложки и только что не кивал — «верно, братец, верно».

«Залезу в какое-нибудь местечко поуютнее и посижу в нем, — продолжил Колесников. — Глазом моргнуть не успею, как время пролетит».

В том, чтобы, чихая и кашляя, гулять по ноябрьской Москве, Колесников особенного удовольствия не видел.

«Книжку вон читаю, фильм какой-нибудь посмотрю», — подвел итог он.

Поэт скромно и благодушно промолчал — «книжку, да».

Колесников для верности, чтобы совесть была совсем уж чиста, перелистал расписание поездов еще раз, купил билет, поискал в Интернете способы вернуть деньги за упущенный рейс, а потом еще какое-то время сидел в глухом, без дверей и окон углу, цедил пунш — заказал еще одну порцию — и разглядывал посетителей, которые приходили, завтракали — кто под разговоры, кто молча — и уходили, слушал музыку вперемешку с рекламой из колонок, долетающие до него обрывки разговоров и удивлялся: еще вечером он расхаживал по опустевшему санаторию за четыре тысячи километров отсюда, пил воду из кулера на этаже, застеленном ковром, закупался таблетками в алма-атинской аптеке, засыпал, глядя на небо за балконной дверью, а теперь вот сидит в кафе в центре Москвы, пьет пунш и опоздал впервые в жизни на самолет.

Он было думал почитать — стихи, там, или интервью — и открыл даже, снова наткнулся на те, о влюбленности, пробежал глазами, отметил снова, что это, да, хорошие стихи, и странно, что написавший их поэт совершенно неизвестен, что Колесни-

ков вот впервые услышал о нем от соседа по номеру, а не из новостей о какой-нибудь премии, но вчитываться не стал, а на ощупь — по локоть засунув руку в чемодан — вытащил из несессера таблетки, выбрал и бросил в рот те, что спасали от боли в горле, влез в куртку, вернул поднос на стойку и ушел из кафе.

Утро было по-прежнему серым, на Москву — на дороги в десять полос, на уходящие к облакам ряды этажей, на ниши переходов и спусков в метро — сыпался по-прежнему крупный, тяжелый снег, тут же таял, точно уходил сквозь асфальт прямо в тоннели, сбивался у бордюров в кашу. По тротуарам и переходам валили толпы прохожих, на дороге яблоку некуда было упасть — упадет либо на капот, либо на крышу, оставит вмятинку, и соберется по новой пробка до следующего перекрестка.

Колесников спустился в метро, прокатился в переполненном — через одного читают, он даже посмотрел горделиво на поэта — вагоне, вышел, перелез с одной ветки на другую, чувствуя, как поднимается температура, прокатился еще в одном вагоне — удивительное дело, совсем пустом — постоял на эскалаторе и вынырнул под те же серые облака и под тот же снегопад, только уже в другой части города.

Вынырнул и оказался в тени огромного торгового центра — возвышающегося над вокзалом.

Торговый центр смотрел на Колесникова сотней экранов, вывесок и витрин, рекламных баннеров и бегущих строк — и приглашающе вращал дверями.

«Не будешь же ты меня обходить, — как бы говорил он. — Меня еще попробуй обойди».

А Колесников и не собирался — он знал, что по каждому этажу торгового центра рассыпаны кофейни и ресторанчики один другого уютнее, а кроме того, можно будет при желании пройтись по отделам и купить то, чего дома не найдешь.

Он увернулся от вращающихся дверей, расстегнул и продемонстрировал бдительной охране чемодан — хоть наизнанку выверните, никаких канистр, ни одной, ни самой крошечной, — покатался туда-сюда в стеклянных капсулах лифтов, поездил на эскалаторах и наконец уселся в кофейне в самом сердце торгового центра, между окнами во всю стену и летящим сквозь этажи в голубой декоративный бассейн водопадом. Уселся, пристроив чемодан, в глубокое, бездонное почти кресло, выложил перед собой сборник стихотворений, рассказов, статей, очерков и интервью и заказал огромный чайник ягодно-фруктово-травяного чая, на две трети заполненный, собственно, ягодами, фруктами и травой и лишь на одну треть — чаем.

К фантазмагорическому чайнику он попросил стакан воды — запить жаропонижающее.

В этой кофейне — что там кофейне, в этом кресле! — Колесников просидел, обливаясь потом и читая книгу, или глядя в окно, или глядя на водопад, или глядя на посетителей, несколько часов. В кофейню приходили воздушные какие-то девочки в дутых куртках, долговязые студенты в коротких брюках с голыми щиколотками, важного вида мужики в пиджаках, вроде того, что предлагал Колесникову траву в курилке аэропорта. Девочки шушукались, фотографировались щека к щеке, студенты гоготали и шмыгали носами, мужики обсуждали что-то вполголоса, оглядываясь коротко, наваливаясь на столики, с таким видом, словно решали судьбу страны, если не мира. От стойки в вензелях к столикам порхали официантки в плотных фартуках — приносили на подносах напитки, собирали пустые чашки, уточняли, не желает ли посетитель еще чего-нибудь и можно ли забирать меню.

У каждой официантки на лямке фартука белел бейджик с именем; столик Колесникова — вместе с чайником, приборами, тяжелым меню на деревянной основе и самим

Колесниковым — достался приветливой барышне с редким именем Римма, которое ей как будто совершенно не подходило.

Колесников вспомнил, как читал где-то: официантки специально пишут на бджиках не свои имена, а вычурные, бросающиеся в глаза — и потому хорошо запоминающиеся.

— Вам меню оставить? — спрашивала Римма, пролетая мимо. — Или забрать?

— Оставьте, — отвечал Колесников, хотя ничего, кроме чая, заказывать не собирался.

Римма кивала и спрашивала приветливо:

— Что читаете?

Колесников показывал обложку — бородатый поэт одарял Римму суровым, но приветливым взглядом — Римма пожимала плечами.

Читал Колесников огромный очерк — о том, как поэт поступал в начале восьмидесятых в литературный институт, на заочное, как работал при этом в типографии у себя, в Ростове, как мотался из Ростова в Москву и обратно, как радовался первым публикациям, как встречал и преодолевал преграды и препоны, как общался с крупными поэтами того времени — ни одной фамилии Колесников до очерка не знал.

Колесников читал и постепенно погружался в чужую жизнь, в какой-то незнакомый мир, состоящий из журналов, публикаций, премий и сборников, сплетен и кляуз, полемик и попыток некоего «осмысления», о котором автор говорил на каждой второй странице. В мире этом были свои гуру и свои системы оценок — и в другое время Колесников, вероятно, подобным текстом не заинтересовался бы, но вот так, больным, невыспавшимся, в бездонном кресле, под шум искусственного водопада и мурлыканье музыки, под разговоры за соседними столиками и сладко-кисло-терпкий вкус бесконечного, отказывающегося заканчиваться чая, читалось ему на удивление легко.

«Ну и написано хорошо, — думал он. — Живо так, раз-раз, и схватил самое главное».

Колесников зажимал нужный разворот пальцем и листал в середину книги, к фотографии — и смотрел на поэта в молодости — усы, вихры, в зрелости — борода, знакомый уже суровый взгляд, в возрасте, близком к пожилому, — та же борода и тот же взгляд, только борода уже с проседью, а во взгляде на две трети суровости треть усталости. Вот поэт в армии, вот поэт в редакции местной газеты. Вот в типографии, вот на вручении какой-то награды — светится прямо, даром что снимок черно-белый. Вот поэт с Юрием Кузнецовым, вот — с Иваном Павлининым, вот — с целой толпой писателей в составе делегации, а кто из этих писателей кто, поди разбери.

За окнами клубилось серое московское небо, с него сыпался снежок — сыпался и сыпался, сыпался и сыпался, прятал далекие небоскребы в туманную мглу.

Обедал Колесников на фуд-корте — пришлось оставить кресло, столик и кофейню с Риммой и подняться на два этажа выше, в шум и гам, в запахи двух десятков кухонь и скрежет передвигаемых с места на место стульев. За обедом он продолжил читать очерк — и дочитал ровнехонько к приходу особенно шумной компании, облепившей соседний стол так, что он совсем исчез из виду и можно было решить, что компания сидит, сгрудившись, плечом к плечу вокруг пустого места.

Жаропонижающее действовало, и если бы не боль в горле, Колесников списал бы общее ощущение выжатости на усталость и чехарду с часовыми поясами.

Пообедав, он вернулся в кофейню — для разнообразия не тем путем, которым уходил, чуть не заблудившись, — еще раз поздоровался с Риммой, сел на то же место, совсем уже родное, и заказал еще один чем только не набитый чайник.

— Я могу меню забрать? — спросила Римма, улыбаясь. — Или лучше оставить?

— Лучше оставьте.

И снова Колесников тонул в мягком, словно облако, кресле, пил пробивающий нос до пазух чай и смотрел то в книгу, то вокруг себя — и вокруг снова звенели ложками и прихватывали щипчиками коричневый рафинад важные мужики, модные сту-



денты и усыпанные блестками девочки. Приходили и сидели, стукаясь лбами, влюбленные, громко кричали в гарнитуру обладатели галстуков и запонок, тьякали тоненько с заботливых женских рук крошечные лупоглазые собачки.

- Может быть, желаете чего-то из выпечки? — спросила Римма.
- Нет, спасибо.

Он к месту вспомнил о купленных накануне финиках, нашел их в одном из отделений чемодана, открыл и стал по одному таскать из упаковки — не привлекая к себе внимания.

Финики оказались страшно сладкими, но фруктово-ягодно-травяной — Колесников не удивился бы наличию в нем овощей — чай удачно перебивал сладость, даря какое-то совсем уж удивительное вкусовое сочетание.

Очерк был дочитан и даже обдуман, и братья за что-то столь же внушительное Колесников не решился. Вместо этого он прочел несколько стихотворений — вразнобой, из случайных разделов и периодов, — кое-что даже отметил, решил, что покажет Оле — она любит стихи и разбирается в них, может быть, даже и Кузнецова с Павлининым знает — подумал, что бывает же такое: сидит сейчас где-нибудь в Ростове этот вот поэт или не сидит, а, скажем, предается послеобеденному сну и знать не знает, что некий Колесников читает его стихи в самом сердце торгового центра в самом сердце Москвы, опоздав в первый раз в жизни на самолет.

После стихов, устав от чтения, Колесников воткнул в уши наушники и взялся смотреть фильм — под укоризненным взглядом поэта с обложки — и смотрел рассеянно, пригревшись до готовности уснуть, пожевывая лениво финики, а окна с небом и снегопадом понемногу темнели, и в них дробились огни зажигающихся фонарей.

«И просмотр фильма, — думал Колесников, глядя на то, как по экрану мобильного расхаживают, заламывая руки, актеры, — тоже похож на сон».

Когда фильм закончился, за окнами было совсем темно. Колесников не без сожалений выбрался из кресла, попрощался с Риммой и — книга под мышкой — покатил чемодан к эскалатору.

От дверей торгового центра, вяло перемешивающих теплый воздух с холодным, до тяжелых дверей вокзала он шел, вжавшись в воротник, насупившись и толкая плотный, упругий ветер лбом. Мокрый снег колот щеки, лип на ресницы, и сквозь него Колесников видел, что многочисленные пешеходы, идущие справа и слева, задевающие то самого Колесникова, то скрипящий колесиками чемодан, также играют в полярников и наваливаются, сопротивляясь, на ветер.

Под сводами вокзала хлопали крыльями голуби, приятным эхом каталась по залам мелодия из трех нот, предваряющая сообщения о прибытии и отбытии.

Нужный поезд ждал на одном из путей, под куполом навеса, перед каждым вагоном вытягивалась очередь с паспортами наперевес. Поезд был не современный, комфортабельный и двухэтажный, запущенный по московскому маршруту совсем недавно, а низкий, угрюмый и как бы спрашивающий всем своим видом: «Что не так? не нравлюсь я тебе? так не опаздывал бы на самолет!»

— Вагон-ресторан не работает, — сообщила зачем-то проводница, возвращая Колесникову паспорт.

«Да и хрен с ним», — подумал Колесников, чувствуя, как поднимается сбитая температура, а вслух сказал:

- Очень жаль.
- Не жаль, — ответила проводница. — Мало нам драк?

Колесников не ответил, посчитав вопрос риторическим, и перешагнул усыпанную окурками расщелину между краем перрона и тамбуром. Толкнул щелкнувшую зам-

ком дверь, протиснулся в вагон и забросил чемодан на верхний ярус багажного уголка, колесиками к окну. Потом прошел по вагону в поисках своего места и обнаружил его рядом с крепким дядькой, который то ли спал, то ли делал вид, что спал — только сели, когда бы успел уснуть взаправду? — и сидел с закрытыми глазами плечом в стекло, руки кренделем на груди, брови сведены на переносице.

Колесников уселся, отогнул от кресла перед ним столик, выложил книгу — поэт смотрел особенно недовольно — и оглядел вагон.

Вагон был ожидаемо старый, тесный, кресла в облупленном дерматине, освещаемый тусклыми желтоватыми лампами. Кое-где у резиновых бортиков стекла были исцарапаны надписями, как в троллейбусах.

За окнами ходили по перрону полицейские, спешили с сумками через плечо опаздывающие. Поезд стоял долго, Колесников подумалось даже, что что-то в этом есть — зайти, просто посидеть в неподвижном вагоне, а потом выйти, но вот раздалось натужное «у-ух», перрон качнулся и пополз вместе с полицейскими, скамейками и фонарями за плечо не открывающего глаз соседа. Оборвались и уплыли поддерживаемые стенами и колоннами своды, за ними потянулись неспешно трубы и башни, высотки, подсвеченные каждая по-своему, подпирающие сквозь снегопад оранжевое, в разводах, небо.

Когда мелькнули и исчезли за соседским плечом последние бетонные заборы, изрисованные граффити, когда прошествовали важно полупрозрачные, похожие на миражи, далекие небоскребы, готовые и еще не достроенные, а небо лишилось разводов и потемнело, Колесников бросил в рот мятный леденец и раскрыл книгу, задев соседа локтем.

Сосед, не открывая глаз, засопел недовольно и еще сильнее нахмурился.

Колесников продумал план действий на случай, если сосед решит повернуть с его плечом ту же штуку, что девушка в самолете — предупрежден — значит вооружен, полистал стихи, проигнорировал недочитанное интервью и остановился на внушительном рассказе под названием «Ящик», внезапно оказавшемся фантастическим.

В рассказе говорилось про ученого, ночь напролет бьющегося над загадкой некоего ящика, сплошь состоящего из потайных отделений, скрытых полостей и все новых и новых дверок, открыть которые можно, разгадывая хитроумные головоломки.

По рассказу ученый — пожилой господин, списанный, как понял Колесников, автором с самого себя, Колесников даже в фотографии заглянул и сверил описание — по рассказу ученый получил этот ящик в наследство от погибшего при странных обстоятельствах коллеги, гениального исследователя, но кем был ящик создан — коллегой или кем-то еще — не уточнялось. К ящику прилагалось пространное письмо, полностью приведенное в рассказе и повествующее о роли и ответственности ученого. Главный герой, скептик и даже циник, прожженный совсем, растерявший веру в человечество, долго откладывает изучение ящика в... хех, дальний ящик — Колесников улыбнулся, а потом вдруг решается и — неизвестно, почему именно сейчас — приступает к нему в один из вечеров, под закрытие лаборатории.

Ящик на вид представляет из себя тяжеленную коробку кубической формы, причем дерево отполировано до блеска и внешне лишено каких бы то ни было «швов», точно ящик выпилен из цельного куска древесины. Ученый, однако же, обойдя стол так и эдак, обнаруживает в нижнем углу крошечное отверстие, в которое догадывается засунуть разогнутую скрепку.

«Разогнутая скрепка — это банально», — подумал Колесников, прикрыл книгу и строго посмотрел на поэта.

«А чем бы воспользовался ты?» — точно ответил тот.

Разогнутая скрепка сделала свое дело, и из стенки ящичка выехал — «слот для сим-карты?» — прямоугольник, за которым обнаружилось первое потайное отделение с первой головолонкой.

Поезд уже всюду летел через темные — в пятнах снега — поля и перелески, порой попадались, моргали огнями и уносились за плечо соседа скопления домиков, шагали важно вышки с красными фонарями, похожими на глаза.

Колесников читал, покашливал в кулак и прикидывал, можно ли уже заказывать чай, чтобы запить жаропонижающее, или стоит еще подождать.

В вагоне царило сонное, угрюмое настроение, вагон потряхивало, пассажиры либо спали, либо хмурились в телефоны, ерзали и ворочали плечами, пытаясь устроиться поудобнее в жестких креслах. По проходу туда-сюда, из одного конца вагона в другой, расхаживал спортивного сложения парень в обтягивающей черной футболке — коротко стриженный, играющий желваками. Расхаживал и заглядывал — кто что делает? Не слишком навязчиво заглядывал, но заметно, даже в книгу Колесникова посмотрел раз или два.

Когда парню надоедало расхаживать, он садился на свое место — по диагонали, в другом конце вагона, лицом в проход, — выставлял в проход ногу и сидел, глядя перед собой с вызовом и превосходством. Дважды или трижды Колесников встретился с ним взглядом и все ждал, что парень вскинет вопросительно подбородок — «че?» — но тот не вскинул.

Сосед спал, привалившись к окну, и тоненько посвистывал ноздрей.

«Что ему снится? — думал Колесников. — Что-то же да снится, вон как зрачки под веками ходуном ходят».

Ученый в рассказе открывал отделение за отделением, дверцу за дверцей, причем открывались они в самых неожиданных местах — ткнешь клавишу на одной стенке, откроется ниша в другой — и открывались хитро, то внутрь, то наружу, так, что ящик постепенно становился похож на нечто сюрреалистичное и занимающее весь стол ученого, с которого он, конечно, смахнул бумаги и даже монитор с клавиатурой снял и просто поставил на пол, чтобы освободить место.

В процессе распаковывания чудного ящика ученый разговаривал по телефону с дочерью или с бывшей женой — «чего она вообще ему звонит?» — или с заглядывающими в лабораторию коллегами.

— Ив-ван Алексеевич, — спрашивал, заикаясь, лаборант, никак какой-нибудь коллега по цеху, насоливший, — вас завтра на к-конференции ж-ждать?

— Не ждать, — отмахивался ученый. — Нету в ваших конференциях никакого толку!

Спинка кресла перед Колесниковым дернулась, откидываясь — даже столик подпрыгнул, — потом из-за нее выглянула усталая женщина с лицом в веснушках.

— Вы не против, если я откинусь?

Колесников развел руками — насколько позволил сосед, — женщина кивнула удовлетворенно, отвернулась и пригладила волосы на макушке.

Рука ее до самых пальцев оказалась покрыта татуировками.

Когда за окнами лаборатории совсем стемнело и к ученому заглянула сперва уборщица — «Сергеевна, завтра помоешь, я занят», а потом и вахтер — «надолго я, надолго, хватит мне мешать», — Колесников запомнил номер страницы, закрыл книгу и выбрался из кресла. Прошагал в конец вагона, попросил у проводницы чай.

Температура была, по-видимому, высокая, Колесникова начал бить озноб.

— С вами все хорошо? — спросила проводница. — Бледный вы какой-то.

— Простыл, — мотнул головой Колесников. — Ерунда.

— В Москве подхватили? — покачала головой проводница. — Немудрено, погода вон какая.

Колесников неопределенно повел плечами и приложил карту к протяннутому терминалу.

— Садитесь, я принесу.

Через несколько минут на столик опустился пышущий паром стакан с кипятком, и пока чай остывал, Колесников продолжал читать, а когда остыл, отложил книгу и стал цедить понемногу, глядя мимо соседа в окно. За окном неслись одинаковые, как под копирку, поля и леса, потом выныривали из них станции, за станциями рассыпались огнями городки. Поезд не останавливался — остановка будет всего одна, ближе к концу поездки, — и казалось, что станции скрываются из виду обиженные, обделенные вниманием.

Осушив стакан наполовину, Колесников вытянул из кармана пластинку с таблетками, хрустнул, выдавливая одну в ладонь — сосед нахмурился во сне, — и проглотил, запил, обжигая язык.

И вернулся к чтению.

У ученого времени было уже за полночь — а он все ковырялся с ящиком и ковырялся. Какие-то отсеки открывались, если на них падал свет, какие-то нужно было сбрызнуть водой, ради каких-то стол вместе с ящиком приходилось чуть наклонять — ученый кряхтел, стискивал зубы, но справлялся, потому как был мужик для своих лет крепкий. Уборщица погремела в коридоре ведром и ушла, вахтер больше не появлялся, дочь и жена перестали звонить — поздно, и ученый, корпя над ящиком, предавался воспоминаниям: вспоминал молодость, ушедшего коллегу, какие-то экспедиции и мечты о собственном НИИ. Потом он начинал не к месту фантазировать о стремительном прогрессе, думать едва ли не лозунгами, читать про себя морали и нотации — Колесников прикрывал книгу и смотрел на поэта, качал головой — за нотациями следовали подробные описания очередной головоломки.

Из воспоминаний и внутренних монологов выходило, что ученый — человек в общении и в быту непростой, резкий, эгоистичный даже, но где-то на глубине души растерянный и мечтательный.

Описанию головоломок отводилось так много места, что Колесников даже заскучал — и стал клевать носом. Вообще написано было хорошо, но как-то слишком уж подробно — и время от времени прорывались чисто поэтические штуки: то тени режут лабораторию на лоскуты, как ткань, то ночь смотрит сквозь жалюзи, как арестант сквозь решетку. Колесников клевал носом, читал рассеянно, и приходилось возвращаться, перечитывать целые абзацы, по которым взгляд, оказывалось, скользил машинально.

Если очередная задача ученому не давалась, он мерил лабораторию шагами и бормотал заученные наизусть стихи. Какие именно стихи он бормотал, не уточнялось, и можно было представить, что вот эти, например, с двухсотой страницы или с пятьдесят седьмой про юношескую влюбленность.

Последние отсеки измученный отсутствием сна и умственным напряжением ученый открывал уже под утро, чуть ли не с рассветом, когда сквозь жалюзи уже смотрело светлое — Колесников сперва прочел «светлое», — резко очерчивающее силуэты парковых крон небо.

Заканчивался рассказ тем, что в самом сердце фантастического ящика обнаружился сложенный тесно из деревянных шестеренок механизм с крошечной педалькой. Ученый, конечно, ничтоже сумняшеся, нажимал пальцем на педальку, механизм приходил в движение, разгонялся с жужжанием — и ученый испытывал что-то вроде удара в лоб, на мгновение замутняющего сознание. Потом он приходил в себя, оглядывал

точно из цельного куска дерева выточенный куб, прикидывал, что с ним делать и как его открывать, сверял время — задержится на пару часов, ничего, лучше, чем очередной вечер в одиночестве, — перечитывал еще раз приложенное к ящику письмо, принимался осматривать стенки и в нижнем углу одной обнаруживал крошечное отверстие, в которое влезет разве что... ну вот разогнутая скрепка, например.

На этом рассказ заканчивался, подразумевалось, видимо, что все начнется сначала и затем будет повторяться бесконечное количество раз.

Рассказ Колесникову понравился — если не считать затянутости, чисто поэтических шуток и того, что остался нераскрытым главный, кажется, вопрос: кто и с какой целью создал столь коварный ящик? не добряк же коллега?

Жаропонижающее действовало, температура спадала, и Колесников сидел, обливаясь потом.

— Это что у вас, горностаи? — пробасил кто-то.

Колесников поднял голову и увидел, что над женщиной в веснушках и татуировках стоит парень в черной футболке.

Макушка женщины чуть качнулась над спинкой сиденья.

— Хорек.

— Прикол, — подытожил парень, хмыкнул и двинулся обычным своим маршрутом по вагону.

Колесников не удержался и чуть подался вперед, высунулся в проход, заглянул, придерживая столик, женщине за плечо. Татуированными руками она прижимала к коленям приоткрытую сумку, а из нее смотрел на Колесникова, высунув наружу острый нос, действительно хорек. Нос его не переставая дрожал, крошечные ноздри раздувались, черные глазки блестели испуганно.

Хорек исчез внутри сумки, потом снова показался, потом блеснул гладкой шерстью бок, потом хорек принялся как будто сновать из одного конца сумки в другой, а женщина накрыла сумку рукой, призывая его успокоиться.

— Вадик, сиди спокойно, — сказала негромким голосом женщина. — А то я тебе...

Хорек точно понял ее и замер, затих.

«Хорьки, канистры с соусом, пропущенные самолеты...» — подумалось Колесникову.

Он откинулся в своем кресле, опустил даже немного спинку и стал листать книгу, прикидывать по содержанию, сколько он уже прочел, переводить, считая страницы, в проценты, думать про рассказ об ученом. Температура совсем спала, даже горло после чая болело как будто слабее. Колесников устроился поудобнее, отложил книгу и закрыл глаза. Механически стучали колеса поезда, нет-нет да и начинала шуршать сумка с хорьком, кто-то покашливал, кто-то шмыгал носом, у кого-то каждое нажатие на экран отзывалось негромким пиканьем, по вагону ходил упруго — только чуть подошва поскрипывает — парень. Тоненько свистел ноздрей сосед.

«А если я захраплю? — подумал вяло Колесников сквозь туман и сливающиеся в однообразный гул звуки и сам себе ответил: — Ну, захраплю и захраплю, не преступление».

Ответ его успокоил, он почувствовал, что качается в такт вагону, потом, что будто бы плавно опрокидывается назад, проваливается сквозь спинку кресла — и уснул.

Снилось ему, что он идет по широкой улице, застроенной невысокими домиками в один, редко два, этажа. Идет и идет, идет и идет — смотрит по сторонам, пинает попадающиеся на дороге камешки. Ясный, июньский как будто, вечер, бледно-голубое небо на западе раскаляется, пылает закатом, над головой Колесникова тянутся полупрозрачные облака. Домики стоят тесно, прячутся за палисадниками в сирени и ши-

повнике, по оградкам и конькам сидят, облизываясь, зевая, провожая внимательными взглядами, кошки. Колесников идет, идет и готов идти так еще хоть сто лет, но на дорогу ступают откуда-то мужики — местные — окликают. Колесников останавливается и начинает что-то оживленно обсуждать с мужиками — но что именно, он и сам понять не может, ерунду какую-то. Наконец один из мужиков показывает пальцем за спину Колесникову, в начало улицы. Колесников оборачивается и видит, что вдалеке, за деревьями, над улицей возвышаются две огромные, с башню каждая, пивные бутылки.

— А, — усмехается Колесников. — Это я вчера поставил.

Мужики кивают глубокомысленно, Колесников оборачивается еще раз и смотрит, как блики от лучей играют на стеклянных боках.

«Это хорошая метафора, — думает Колесников. — Описывающая важность продукта».

Мужики кивают чему-то своему, Колесников просыпается и вновь оказывается в вагоне поезда.

По-прежнему спит, хмурясь, сосед, по-прежнему тянутся за окнами темные, в снегу, леса, по-прежнему ходит туда-сюда, точно караульный на башенной стене, парень в футболке.

Колесников встряхнул головой и согнал сонный дурман, сел ровнее, обтер рукавом мокрый лоб, уставился в окно, потом раскрыл книгу, принялся от нечего делать разглядывать фотографии.

Кузнецов, Павлинин, делегация... Редакция газеты, Красная площадь, какая-то воинская часть в снегах...

Щелкнул громкоговоритель под потолком, и сильный женский голос — сонный и равнодушный — объявил приближающуюся остановку.

— Время стоянки... — обладательница голоса точно задумалась, выбирая, — четыре минуты...

По вагону прошло волнение: несколько человек зашуршали куртками, потянули из-под потолка сумки, захлопали по карманам, заспешили, не дожидаясь остановки, к тамбуру курильщики, выстроились в очередь.

Колесников сидел и думал, не попросить ли у кого-нибудь сигарету, не спрыгнуть ли на пару минут на перрон.

Две из четырех точно в очереди простоишь.

Ему представился пустынный заснеженный перрон, возвышающийся над ним вокзал с просматриваемым сквозь окна буфетом — обязательно буфетом! — привокзальные домики, а вокруг — непроницаемая темнота, перемешанная со снегопадом, точно перрон вместе с курильщиками, поезд и вокзал плывут сквозь заметаемый снегом космос на клочке из асфальта и грунта.

Пока Колесников думал, поезд стал замедляться, в окнах показались первые домики — низенькие, точно из сна, — их сменили тесно толпящиеся новостройки, а потом подполз к соседскому плечу и остановился, точно не решаясь толкнуть и разбудить, приземистый, строгий вокзал с мелкими квадратными окошками, сквозь которые никакого буфета не разглядишь, даже если он там есть.

Поезд ухнул, остановился с шипением — и курильщики повалили из вагона, на ходу втыкая сигареты в зубы.

Колесников решил не дергаться — кто понял жизнь, тот не спешит.

И только он решил не дергаться, как подпрыгнул, встрепенулся всем своим огромным телом сосед.

— Остановка? — он назвал город. — Разрешите, а...

Он, точно фокусник, выдернул откуда-то из рукава сигарету и зажигалку, полез мимо Колесникова в проход — Колесников едва успел сложить столик и подхватить книгу.

Сквозь осиротевшее, точно ставшее голым, ничьим плечом не заслоняемое окно Колесников видел, как сосед в составе остальных курильщиков — вот и парень в футболке, даже не накинул ничего — топчется перед вагоном, курит, не вынимая рук из карманов, морщится и жмурится, отворачиваясь от снегопада.

Прозвучал гудок — и перрон вмиг опустел, и только сосед до последнего тянул свою сигарету, кивая кому-то — проводнице, конечно — за пределами окна. Наконец и он бросил бычок под ноги, топнул по нему недовольно и исчез из виду, а через минуту хмуρο шел через вагон.

— Разрешите, будь добр... — он пролез на свое место, повозился, скрестил на груди руки и закрыл глаза, свет над ними брови для верности.

Поезд тронулся, усыпанный бычками перрон прополз соседу за плечо и остался позади.

И снова понеслись-побежали мимо вагона поля и леса, деревушки и городки, громоздкие мосты и одинокие водонапорные башни — тоскливые и напоминающие о чем-то давно забытом — и снова спал сосед, и снова ходил туда-сюда, заглядывая через плечи сидящих, парень, и если бы не густой запах табака, плывущий по вагону, можно было бы решить, что остановка, вокзал и перрон были не более чем сном.

«Был не более чем сон, — подумалось Колесникову неожиданно, — тот вокзал и тот перрон».

Он удивился — и стал размышлять, вспомнил ли он услышанные когда-то, прочитанные строчки или сочинил что-то сам впервые за... Сколько там лет прошло со старших классов?

«Был не более чем сон... — повторял он мысленно, поднимаясь со своего места и отправляясь к проводнице за второй порцией чая. — Тот вокзал и тот... перрон».

По всему выходило, что прочти он нечто столь безыскусное и простое в какой-нибудь книге, он навряд ли бы это нечто запомнил.

— Чаю? — спросила проводница. — А вы прямо порозовели, лучше вам?

— Лучше, спасибо, — ответил Колесников, особенного улучшения не чувствуя.

— Садитесь, я принесу.

На пути к своему месту Колесников вдруг увидел, что парень в футболке устал расхаживать туда-сюда и сейчас сидит спиной, склонив коротко стриженную голову над телефоном.

«Ты заглядывал, — сообщил Колесников мысленно стриженной голове, — а вот и я загляну».

И проходя мимо, Колесников и впрямь как бы ненароком повернулся и заглянул в обвитый крепкими пальцами — вон и костяшки сбитые, мутузил кого-то — телефон.

По экрану рассыпались хаотично шахматные фигуры, белые отвоевывали у черных центр доски.

Парень поднял голову, посмотрел вопросительно, Колесников сделал вид, что смотрит мимо парня и его соседки — полной дамы с пучком на макушке — в окно.

Вернулся на свое место, дождался чая и принялся за чтение.

И снова он читал стихи и пил, стараясь не облиться, чай, а сосед спал, а поезд ехал и ехал, ехал и ехал сквозь тьму и снегопад, сквозь тьму и снегопад, и опять заходил туда-сюда внезапный шахматист, и мелко моргали лампы, и кто-то храпел, а кто-то сопел — и Колесников вспоминал рассказ про ученого, и временами ему казалось, что он сам попал в какую-то петлю и теперь обречен бесконечно ехать в этом вагоне под тоненький свист соседской ноздри, и что часы врут, и на самом деле он едет давным-давно, не из Москвы, а из самой, например, Алма-Аты, в существовании которой он, признаться, немного сомневался, как и в существовании вообще чего-либо, кроме этого вагона.

Но казалось ему это как-то понарошку, потому что умом — затуманенным болезнью и усталостью умом — он понимал, что после единственной, четыре минуты, остановки ехать остается всего ничего, если, конечно, какой-нибудь ученый не разобрал где-нибудь в своей лаборатории коварный ящик, из-за которого Колесников теперь обречен кататься по кругу до скончания времен.

«Завернется время в узелок, а мы и знать не будем, — думал Колесников вяло, одним глазом читая стихи, а вторым заглядывая в сонный туман, — Может, я уже тысячный раз в этом вагоне еду. Может, я уже тысячный раз из Алма-Аты возвращаюсь. Может, я уже тысячу раз эту канистру от чемодана отпиливал — и стихи эти читал тысячу раз».

И он принимался плавать между сном и явью, и удивляться тому, как ловко он все, хоть рассказ пиши, придумал, и видел какие-то прозрачные сны, испаряющиеся, только обратишь на них внимание: Оля дарит билеты на концерт, Павел Александрович запускает бумажные самолетки из отчетов, родители поздравляют с окончанием университета — и мечтал о том, как поднимется в свою квартирку, отопрет дверь ключом, бросит и чемодан, и куртку с ботинками в коридоре, протопает в комнату и, как есть, в одежде, завалится лицом вниз на кровать и проспит... Сколько надо, столько и проспит — пусть хоть увольняют.

Потом он вспоминал, что будет брать больничный, и отмечал, что за больничный дочитает книгу — он листал, изучал оглавление, прикидывал снова, сколько страниц еще остается, а потом и Оле покажет, и даже автору напишет — спросит электронную почту у соседа по номеру — и поблагодарит за... то, что составил компанию в дороге, порадует, что вечером перед вылетом обнаружил такой примечательный сборник — стихов, рассказов, статей, очерков и интервью — на подоконнике за занавеской.

Он вдруг совсем проснулся и стал перебирать впечатления — и вспомнил и номер с крошечной ванной, и кулер в коридоре, и трансфер с водителем, и канистру эту, и застекленную курилку, и перелет с интересом к его плечу, и суету на парковке, и аэроэкспресс, и завтрак в кафе, и привал в кофейне у искусственного водопада — с перерывом на обед... Потом он стал вспоминать саму конференцию, вино по вечерам, круглые столы, дебаты, актовый зал с пухлыми синими креслами, споры с соседом о том, как снимать кино — и вспоминал до тех пор, пока поезд не стал понемногу замедляться и сиплый голос из громкоговорителя не сообщил, что вот... поезд прибывает... просьба не оставлять свои вещи... благодарим за...

Одним из первых Колесников оказался у выхода в тамбур и стоял, опираясь на чемоданную ручку, изучал расписанный и втиснутый в пластиковый кармашек маршрутный лист, пока поезд все замедлялся, замедлялся, грюкал чем-то под тонким полом, посвистывал — а потом вдруг раз, и остановился.

Одним из первых выпрыгнул Колесников и на широкий, мягко укрытый снегом перрон. Снегопад, по-видимому, недавно закончился — и снег, пушистый, аккуратный, мягко серебрился в свете луны и фонарей. Луна — две трети, сама белая, как фонарь — висела над вокзалом, и по шпильам его, по скатам и изгибам крыши плавали серебряные блики.

Тепло светились витражные окна, от них на снег падали разноцветные пятна.

— Разрешить, а?

Колесников шагнул в сторону и мимо прошел, прикуривая, сосед — двинулся вместе со всеми к подземному переходу.

Вот и парень — как был, в футболке. Вот и женщина с хорьком.

Двинулся к переходу и Колесников — а у самого порога, у болтающихся туда-сюда дверей его окликнули и даже хлопнули по плечу.



— Володя? Сколько лет, сколько зим?!

Колесников обернулся и увидел улыбающегося одногруппника — цветастая шапка, сумка через плечо.

Одногруппник этот, выпустившись, помыкался по банкам и конторам, а потом взял и через каких-то знакомых улетел в Шанхай — и осел там преподавателем английского, и за все годы приезжал раз пять-шесть, не больше, но на встречи выпускников не являлся.

Они пожали друг другу руки и вместе спустились в переход.

— А я смотрю — затылок знакомый, — говорил радостно одногруппник. — Я ж на парах за тобой сидел, помнишь?

— Помню, — отвечал Колесников, волоча чемодан по перерезанной канавками плитке. — Ты из Шанхая, что ли?

— Из него, родимого! До января вырваться удалось, родаков хоть повидаю! Ты как? В универе? Как универ? Как кафедра? Кто там, Пал Саныч? Как он? Все угрюмничает?

Колесников начал отвечать, но одногруппник тут же перебивал, заводил разговор про Шанхай, про то, как он от него устал, но и как он к нему привык, про то, что в Шанхае не топят и греться приходится кондиционерами, про то, что иероглифов три тысячи, а он выучил не больше трехсот, но на что они ему, если он все по-английски да по-английски, да и общаться ему там особо не с кем, так, зануды какие-то в коллегах.

— Ты ж все там же живешь? — спросил он Колесникова и назвал район, когда они поднялись и вышли на улицу за вокзалом. — Поехали вместе, одна ж сторона.

Улица гудела автомобилями, во все стороны спешили от вокзала прибывшие с чемоданами, сумками — и без них, налегке.

— Поехали, чего.

Одногруппник кивнул с готовностью и как-то в две минуты организовал такси.

И потом всю дорогу рассказывал про свой Шанхай: про обычаи, про еду, про ночные клубы, про экологию, про скутеры, про уровень жизни, про менталитет. Рассказывал и рассказывал не замолкая, слово не давая вставить, даже водитель стал поглядывать неодобрительно в зеркало.

— А что за книга? Стихи? И как? Рекомендуешь?

И давай опять про Шанхай — Шанхай-Шанхай, Шанхай-Шанхай, Шанхай-Шанхай, Шанхай-Шанхай.

Шанхай.